

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 49

1983



*Геннадий КОЧЕТКОВ*

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

**ЛЕСНАЯ МУЗЫКА**



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 49

Геннадий КОЧЕТКОВ

# ЛЕСНАЯ МУЗЫКА

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1983

## Геннадий КОЧЕТКОВ

*Геннадий Петрович Кочетков родился в городе Ачинске Красноярского края. По окончании театрального училища десять лет был актером. В первые годы освоения целинных земель становится литсотрудником газеты «Павлодарская правда». Затем работал корреспондентом газет «Советская Россия», «Социалистическая индустрия», «Советская культура», редактором отдела прозы журнала «Октябрь».*

*Геннадий Кочетков опубликовал роман «Дорога через сердце», повести «Родная земля», «Антракта не будет», «Уходить и возвращаться» и др. Его рассказы выходили в сборниках и периодической печати.*

## «КОЛОДКА БЕЗ МОТОРА»

Над всеми чувствами, которые испытывал Василий Николаевич при встрече с сыном, довлело ощущение неловкости: неловко было за клеенку на обеденном столе — потемневшую, в каких-то желтых подтеках, неловко за хлеб, нарезанный слишком крупными ломтями, за тарелки и вилки, свидетельствующие о том, что они давным-давно не знают женских хозяйских рук. Неловко Василию Николаевичу было и за себя — словно бы это и не родной сын Федор застал его в затрапезном виде — небритого, в затасканной одежонке. И Василий Николаевич, всеми силами стараясь разбить, развеять неожиданное чувство неловкости перед сыном, излишне суетился, расставляя тарелки, накладывая в них из сковороды толстые ломти колбасы, пододвигая к Федору миски с помидорами, огурцами и темно-зелеными, уже перезревшими перья лука, только что принесенные им с огорода.

В этой напрасной суетливости все время ощущалось заискивание: оно проглядывало настолько явно, что опять-таки вызывало у Василия Николаевича дополнительную неловкость и досаду, но он никак не мог умерить, погасить свою суетливость, а значит, и обрести душевное равновесие.

Но у кого оно могло быть, душевное равновесие, окажись кто другой в положении Василия Николаевича?.. Мать увела Федора из этого дома, от отца, девятилетним, последний же раз заходил сюда сын, пожалуй, года два назад. Сейчас же заглянул перед уходом в армию... Вырос, и когда только вырос?!

Спохватившись, Василий Николаевич достал из буфета четвертинку и разлил поровну с Федором.

— Ну, давай, сынок! — и первым выпил противно-теплую водку. Торопливо закусывая помидором, Василий Николаевич снова подумал, но уже не бегло, а с тоской и горечью: «И когда только вырос?»

И уже не чувство неловкости, а умиление все более овладевало Василием Николаевичем. Его умиляла медлительная степенность сына, то, как он не спеша брал с тарелки ломоть колбасы, яичницу, медленно и деловито, по-особому кривя рот, ел, то, как, разрезав

влажный, в капельках воды, огурец на половинки, старательно солил их и, сложив вместе, предвкушая удовольствие, тер дольку о дольку, а потом с аппетитным хрустом кусал огурец белыми зубами.

Василий Николаевич смотрел на широкие, но и слабые еще плечи сына, на худую высокую шею, на крупную круглую голову; скуластый, большеглазый, с еле намеченными бровями под широким лбом, сын кого-то ему напоминал.

Избыток чувств, их нервная взвинченность мешали Василию Николаевичу угадать, на кого же так похож его Федор. А поняв наконец, что смотрит на самого себя, семнадцатилетнего, торопливо провед ладонью по мокрым глазам и с радостным, все нарастающим чувством отцовства подумал: «А сын-то все ж таки мой, а не мамкин. В отца сын-то!»

С тайным сожалением взглянув на пустую четвертинку, но и ясно сознавая, что добавка будет неуместна — надо держаться достойно, не уронить себя в глазах дорогого гостя перед разлукой, Василий Николаевич встал из-за стола, прошелся по скрипучим половицам до старенького комода, украдкой взглянул в овальное зеркальце, в которое когда-то смотрелась его жена, Глаша, застегнул верхнюю пуговку мягкого воротника чистой, но неглаженной рубахи и со стороны, цепко и как бы оценивающе посмотрел на сына.

— Уже и остригли? — спросил он Федора: надо же было о чем-то говорить, а это так трудно... Немногословным было их свидание перед разлукой, но и о чем действительно говорить-спрашивать, когда один из них уже возмужал, а другой состарился, и все это успело произойти неизвестно когда и без особой, казалось, нужды друг в друге.

— Сам сходил в парикмахерскую, чтоб аккуратнее, а то обкорнают на сборном, будто овцу... — Федор скупно усмехнулся, а Василий Николаевич успел отметить про себя, что эта особая кривизна губ — во время еды, при усмешке ли — от матери. «Наследство!» — тоже усмехнулся ответно.

— И куда же тебя определили... служить-то кем будешь?

— Вроде в саперах. Я как ты — невезучий, — сказал Федор. И хоть намек на нескладную судьбу отца был сам по себе неприятен Василию Николаевичу, в ответе сына он услышал-выделил совсем другое, что тепло шкочотнуло его сердце: «Я как ты...»

— Выходит, метил куда, да не сбылось?

— А-а... никуда я не метил. Служба, она служба и есть, хоть, как говорится, и почетная, но лямка. А ее тянуть надо...

— Так уж и все одно, какую тянуть? Ой ли?.. У меня в твои-то годы, сын... Я не о службе, о жизни — в ней что ты...

— Знаю твою лямку, — не дослушал его Федор. — Тянул, тянул, а все ж таки бросил. И что вытянул? Теперь-то в какую впрягся?

Этот второй и не без умысла едкий намек сына больно задел Василия Николаевича, и он, глядя на усмешку Федора, подумал

с горечью, что материнское «наследство» не только в схожей кривизне губ, увы, не только.

— Да я уж не тяну — дотягиваю...

Он принудил себя погасить обиду, но вот вернуться из б ы л о г о, о котором напомнил Федор, оказалось куда труднее. И какое-то время, у д а л я с ь, Василий Николаевич не слышал, что еще говорил ему сын.

...У Васьки Жворина, как, вероятно, и у каждого, была своя страсть: любил он, взобравшись на плоскую крышу мазанки — дом еще только строился — лечь на спину и подолгу смотреть в небо. На белый далекий конвертик змея, на голубей, ныряющих в бездонную синь.

О чем он мечтал? Наверное, не мечтал, а думал о невозможности для него такого вот полета: был он слаб, рос трудно, тонкие ноги с великой неохотой носили его хилую фигурку по двору, и совсем уже еле-еле, подгибаясь под тяжестью самодельного ранца, плелся он по тихой Тополиной улице в самый конец Волотной, в школу.

Однажды, быть может, впервые не дождавшись возвращения соседских голубей, он спустился во двор. Не зная чем заняться, сел у верстака на мягкие, терпко и вязко пахнущие смолой стружки и принялся отбирать золотистые, словно поджаренные на солнце, замысловатые завитки. Отбирал, цеплял стружка за стружку, плел янтарное, пахучее кружево, удивляясь тихо и радостно возникающему в его руках чуду.

Под стружками оказалась упавшая с верстака боковина наличника. Положив на колени, Васька долго ласкал ладонью доску, обструганную до желтого глянца, гладил ее, а сам в задумчивой растерянности поглядывал на раскинутое у ног кружево из стружек.

Вернувшийся с работы отец остановился в распахнутой калитке, помедлил, недоумевая, и, наливаясь гневом, молча принялся расстегивать ремень. Это что же такое стряслось с Васькой? Ради дури, да такое усердие... Дубасит молотком по долоту — увечит инструмент и совершенно готовый наличник. Тихоня глазастая!

Не слышал Васька крадущихся шагов, не видел взметнувшийся над головой широкий отцовский ремень. Но и не почувствовал удара: рука с зажатой в ней пряжкой замерла, зависла и уже без напряжения коснулась затылка и, сдвинув шапку, медленно опустилась... Округлое долото, играя солнечными бликами, выписывало, подчиняясь ударам молотка, кружевную вязь. Переплетаясь, кольца возникали одно за другим, четко вырисовываясь на желто-смолевой боковине наличника...

Вся улица приходила любоваться нарядными окнами нового жворинского дома, окнами в кружевах.

А Васька, как и прежде, подолгу лежал на крыше мазанки и смотрел в небо. Что-то бродило в мальчишке неясное и доброе. Но вспыхнувшая в нем страсть художника, будто сухие стружки на огне, ярко и быстро сгорела.

Однажды совсем низко, ниже бумажного змея, над городом, над самой Тополиной улицей прошел самолет. И такой необыкновенный — ярко-красный, расписанный белыми зигзагами под орла — с хищным носом, грозными, готовыми к мертвой хватке когтями-обтекателями колес и широко распахнутыми — перо к перу! — крыльями...

Этот удивительный орел — железный, с гортанно рокочущим мотором, опустился в степи, за городом, и Васька вместе с горланящей оравой ребят, опережая многих, помчался к месту его посадки. Он не чувял под собой ног, не ощущал усталости: всегда вальяй и медлительный, Васька оказался не таким уж слабым, видимо, перед ним до сих пор не было еще такой яркой, реальной, властно зовущей его цели. И вот красный орел, грозно, но и призывно пророкотав над головой, позвал к себе...

Самолет, сделавший вынужденную посадку, пилотировал американский летчик Маттерн, совершавший кругосветный полет. Тот самый Маттерн, которого потом разыскал и спас Леваневский, тот самый Леваневский, которого искал, но так и не нашел Маттерн... Васька видел пилота собственными глазами: американец, затянутый с головы до ног в черный хром летного костюма, проехал мимо него в рессорной коляске и даже — Васька мог поклясться! — и даже улыбнулся ему, блеснув золотыми зубами... Видел он, и как ремонтировали красный орлиный хвост — стабилизатор, пропоротый о какой-то кол при посадке: грубую фанерную латку на лаковом теле птицы замазали рыжей масляной краской.

В тот день Васька увидел и понял, что коль можно самолет чинить, то, значит, можно его и делатъ... Вскоре двор и небо над ним превратились в полигон по испытанию летательных аппаратов. Аппаратов самых невероятных, причудливых конструкций. Васька не имел никакого представления о бипланах, монопланах, слыхом не слыхал о подъемной силе, о значении элеронов, стабилизатора, килля. Он не успел познакомиться с Леонардо да Винчи. Васька был просто первобытным человеком, жаждущим неба. А потому смотрел с удесяттеренным вниманием на парящих голубей. Вот если бы смастерить такие же крылья!

И мастерил. Обломки его самолетов валялись на огородных грядках. Модели круто вздымались вверх, опрокидывались, слишком стремительно возвращались на землю... После каждой катастрофы бледные щеки Васьки наливались румянцем, а в глазах долго не тускнел лихорадочный блеск.

И вот еще одна модель взяла старт с плоской крыши мазанки. Ни разу не качнувшись скошенными белоснежными крыльями, она, полого



набирая высоту, быстро уходила от жворинского дома, Тополиной улицы. Уходила, ушла в бездонную голубизну неба и растворилась в ней.

Генеральный конструктор, он же главный инженер и строитель быстрокрылой машины, ревел весь остаток столь знаменательного дня. Нет, ему не было жаль улетевшей модели: он ревел от счастья.

Шли годы. Василий Жворин стал знаменитостью. И не только в тихом родном городке. На республиканских соревнованиях его легкие стремительные модели нередко сопровождались зеленокрылыми бипланами «По-2». И терялись в небе.

И он мечтал затеряться в нем, с великим нетерпением ожидая того часа, когда сможет своими руками оторвать крылатую машину от земли и увести ее ввысь. Но час этот, мечте о котором Василий посвятил жизнь, не настал: в его широкой груди билось слабое сердце.

В армию Жворина не взяли из-за плоскостопия. Школу помешали окончить выезды, соревнования, ночи и дни, растрчиваемые на создание и доводку новых моделей. Они летали все выше, все быстрее, все дальше. А Василий? Да, его уже нельзя было звать просто Васькой. Василий и все чаще — Василий Николаевич... Он ходил через весь город — от Тополиной к Дому юного техника, где вел авиамодельный кружок — большой, неуклюжий, сутулый, с хрупкими моделями в длинных руках. Всегда только пешком. К многострадальным, битком набитым автобусам он боялся подступиться. Модели! Только они, хрупкие, какой оказалась и несбывшаяся мечта Василия Николаевича, их трепетные, прозрачные крылья стрекоз, связывали его с небом: и, оставшись на земле, он все так же был ему верен.

Тяжело и сосредоточенно передвигая ноги, Василий Николаевич шагал по новым улицам, так изменившим город. Не менялись, казалось, только Василий Николаевич, его каждодневные маршруты, его слава. На толстых губах, как всегда, привычно и неугасаемо тлела застенчивая улыбка. Она была необходима ему, как, к примеру, необходима фуражка военнослужащему. Улыбаясь, он отвечал на улыбки встречаемых. А встречаемые — знакомые и незнакомые — улыбались непременно. Василий Николаевич не анализировал — как: дружелюбно или насмешливо. Он слишком был занят своими земными мыслями о небе.

«Опять эта дылда с самолетиком...»

«Интересно, сколько ему лет?»

Василий Николаевич все еще продолжал улыбаться. Но слух его сработал словно стоп-кран. Ноги как-то обмякли и отказывались сдвинуться с места. «Опять эта дылда с самолетиком». Так, кажется, сказала та парочка. Он не ослышался?..

Василий Николаевич долго смотрел вслед тем, кто произнес ошеломившие его слова. Значит, он им смешон? И только ли им? Когда, с каких пор?.. Смешон, неуклюжий, неопределенного возраста, большой чудак с игрушками в руках. «Интересно, сколько ему лет?»

Действительно, сколько? Как быстро пролетели годы, а его мечта так и осталась в коротких штанишках...

От великого до смешного — один шаг. Эту классическую эволюцию Василий Николаевич осмыслил, испытал на себе, глядя вслед удаляющейся парочке.

А вскоре его настиг еще один удар. Вернувшись вечером из Дома юного техника, Василий Николаевич не застал ни жены, ни Федора. На столе записка. «Ушла я, Василий. Сколько раз говорила: что ты есть, что нет тебя, и как мы тут с Федором? Да и не нужны мы тебе вовсе. Ищи свое счастье за облаками, а я нашла себе земное...»

Нашла земное? Это значит другого?! Да нет, нет! Тут не то, совсем не то... И, невидяще глядя на записку, слышал голос Глаши: «Ты Федьку моего не порть! Сам из ума выжил и его с малых лет? Не дам я калечить ребенка, не дам!...»

Калечить? Но ему казалось, что он всегда был внимателен к сыну. Вернувшись с работы, с очередных ли соревнований, всякий раз подробнее, словно взрослому, рассказывал о моделях, о продолжительности их полета, о скорости, о высоте... И сынишка, хоть и совсем мал, тянулся, слушал заворожено... Вот Глаша, это верно — нужны были ей все эти полеты, если только земными заботами и жила? И подумал впервые: может, и права жена? Сам-то он далеко ли улетел, каких высот достиг, тоскливо глядя вслед моделям? Крылатой была его мечта, но сам-то он не был рожден для полета. Но сам-то, сам... Вот-вот! — в этом все и дело. Кто он? «Что ты есть, что нет тебя...»

И с того дня, после ухода Глаши, зашатало Василия Николаевича... Зашатало и понесло, как первую неудачливую модель. Понесло, обламывая хрупкие крылья мечты. К чему он стремился? Чего достиг? Рекордов? Знают, помнят ли о них эти вот идущие мимо земляки-горожане? А сама жизнь, не его личная, а вообще жизнь, по сути своей размеренная, стремящаяся обмануть время, присев у домашнего очага, разве нуждается она, жизнь, в каких-то рекордах?

Думая так, помрачнел, осунулся, замкнулся в себе Василий Николаевич. Толстые, мягкие губы уже не освещались улыбкой. Походка стала еще тяжелей, неуклюжей, а встречные, завидев сутую фигуру, не раз оглядывались вслед, узнавая и не узнавая старого своего земляка. Да и встречи становились все реже: уволившись из Дома юного техника, он почти перестал появляться на улице.

А город жил теми же заботами и праздниками. Все так же азартно толковали болельщики о прошедших соревнованиях авиамodelистов, давно уже ставших здесь традиционными. В городе нет-нет, да и говорили о Василии Николаевиче: на совещаниях, слетах, соревнованиях. Да, его, оказывается, помнили, его, оказывается, ценили — как «зачинателя», как свою доморощенную знаменитость.

Не мог предполагать такого Василий Николаевич — эгоистическое самолюбие всегда близоруко.

Если выдавался погожий день, Василий Николаевич проводил его с утра до вечера за верстаком. Тем самым стареньким верстаком у мазанки, под которым когда-то, так давно, словно в сказке, сплел из стружек золотистые кружева. А может, это и вправду было только в его воображении, зыбком, каким только и могут быть воспоминания о своем детстве.

Что делал за стареньким верстаком Василий Николаевич, долгое время оставалось для всех загадкой. Из-за сутулой, низко склонившейся спины Жворина ничего нельзя было разглядеть со стороны. Заходить же во двор нелюдимого столяра соседи не отваживались.

А работой Василия Николаевича можно было бы залюбоваться. Вот в одной его руке короткий тупой брусок, в другой — стамеска: ее острое лезвие, быстро и ловко скользя по бруску, вьет тонкую стружку, с хрустом обрубают ее и снова гонит, завивая в кольца. Вот брусок вскинут на ладонь, мгновенно осмотрен со всех сторон, и снова, похрустывая сухим деревом, мелькает стамеска, холодным лучом проблескивает отточенное лезвие...

Раз в неделю, всегда, в один и тот же день, Василий Николаевич, сгибаясь под тяжестью мешка, уходил куда-то из дому. Куда? Этого никто не знал.

Домой Василий Николаевич возвращался с пустым мешком... Никогда никому не рассказывал он, что с утра до вечера вытачивает колодки. Сапожные колодки для ателье, выполняющего индивидуальные заказы... Василий Николаевич ненавидел себя за это и с непроходящей безразличностью бросал в мешок уже готовые колодки. Бросал, не сознавая, что каждая из них едва ли не сувенир, едва ли не произведение искусства. Они просились в руки, они, казалось, могли почувствовать их теплоту, их ласку. Но Василий Николаевич оставался глух и слеп.

Он просто день за днем делал сапожные колодки. Заказы росли, росла и новая его слава. И наконец-то завелись лишние деньжата: оказалось, «колодочное» его ремесло уникально, и каждый заказ высоко оплачивался. А он никак не мог понять, не мог с о г л а с и т ь с я с этим. И усмехался оскорбленно: «Колодка!..» И всякий раз при этом видел мысленно стремительный взлет белокрылых своих птиц — невесомо-трепетных, неуловимых, тающих в небе, как сама мечта... Она-то ценилась так дешево!

От заказчиков Василий Николаевич все чаще стал возвращаться пьяненьким. Но только гаже становилось ему на душе, и пить он вскоре бросил. Деньги же — столь непривычные для него суммы — надо было куда-то девать. Оказалось, для этого необходим особый навык... Он отсылал их Федьке, однажды, посмеиваясь над «дурью», купил себе шелковую полосатую пижаму и целую стопку сорочек,

потом телевизор. И, наконец, не устояв перед соблазном, с радостно ноющим сердцем — электрический токарный станочек экстра-класса...

Купил, установил, протер-проверил... Да только так он и стоит, станочек экстра-класса, накрытый клеенчатой попонкой, ибо видеть его Василий Николаевич без раздражения не может. На кой черт купил — колодки точить?!

Да, не нужна была ему его новая слава, и не знал он, куда девать себя от неожиданного «благополучия». Он ходил по улицам все более сутулясь, стыдливо пряча глаза от встречных. Чего он стыдился? Люди далеко не всегда могут понять чужую душу, а потому, видно, угрюмая отчужденность Василия Николаевича только раздражала их. И они, узнав-таки, чем он теперь занимается, словно мстили, бросая ему вслед нелепое прозвище: «Куда ползет эта «колодка без мотора»?..»

Проводив сына до первого угла своей тихой куцей улочки, за которой начинался иной, каменный и шумный мир города-новостройки, Василий Николаевич медленно и, как всегда, когда уставал, подволакивая ноги возвращался назад. День был веселым, солнечным, старые высокие тополя, в незапамятные времена шпалерами высаженные вдоль «четной стороны», бросали густую тень на дорогу, по которой давным-давно никто уже не ездил, а потому она, как и вся улица, поросла мелкой ползучей травой, густой и жесткой. В тени были и деревянный тротуар, по которому шел Василий Николаевич, и дома, старые, с осадистыми крышами. Все они — затемненные ли тополями, ослепленные ли ярким солнцем — словно бы притихли в дремотном ожидании чего-то неведомого.

Да нет, почему же неведомого? О судьбе родной улочки, словно о своей, частенько размышлял-грустил Василий Николаевич. Улочка его, как зеленый оазис, как тихое застойное озеро в окружении высоких каменных лабиринтов вновь выстроенного города. Очень скоро настанет день, когда придут экскаваторы, бульдозеры, и уже не будет ни тишины, ни старых тополей, ни травы-муравы, как не будет и дома Василия Николаевича Жворина.

Но сейчас совсем не о том были его мысли.

«Я, как ты, я, как ты...» — повторял Василий Николаевич слова Федора. Они были сказаны сыном просто так, сорвались немудреной шутки ради, и только. Но Василий Николаевич вопреки всему хотел-таки видеть в них особый, дорогой ему смысл и был обманно счастлив, хоть и проводил сына.

Но ведь Федор и так, без армии, находился для него всегда, всю жизнь, как бы в дальней и совершенно неведомой ему дороге... Странно ли, но все же счастлив был Василий Николаевич, счастлив пробу-

дившейся надеждой: ведь его, его сын-то, и так схож... И все, буквально все — высокое голубое небо, жаркое солнце и едва слышимый шелест тополей, яркие, чуть трепетные резные светотени, бросаемые листвой на тротуар, заборы и крыши, и даже то, как мягко пружинят, поскрипывая под ногами старые, пересохшие плахи, — все, как никогда прежде, благодатно отзывалось в нем.

И только дома, острее необычного вдруг почувствовав свое одиночество, он, присев за неприбранный стол, на котором все напоминало о только что ушедшем сыне, стал думать, а что же, собственно, в Федоре схоже с ним? Что?.. И не мог найти и не мог ответить, так как не знал, не успел заложить в детскую еще душу сына самой малой толики своего отцовского нутра. «А-а... куда я не метил! Лямка... А ее тянуть надо». Вот оно! И опять слышал голос Глаши: «Ты Федьку моего не порть!..» Выходит, только плоть его, Василия Жворина, плоть, в которой все схоже: и обличье, и степенность, и легкая неуклюжесть в походке и движениях...

Думая так, Василий Николаевич вдруг почувствовал, что душно ему, словно тесны стали стены — старые, с пузырящимися обоями. И даже веселая яркость солнца, которая радовала, когда он шел по Тополиной, проводив Федора, сейчас, проникая сквозь пыльные стекла окон, не оживляла, не могла оживить его жилище, а только обнажала, только высвечивала застойный мир и унылую запущенность дома.

Все эти ощущения как-то разом навалились на Василия Николаевича, будто и не прожито им здесь, среди этих стен, в этом мире и одиночестве, уже столько лет. И он вышел из дому во двор, вышел поспешно, едва ли не выбежал, словно бы и вправду мог убежать от самого себя.

Василий Николаевич пересек двор и, не зная куда себя деть, чем заняться, подошел к старому верстаку, не глядя, заученным движением провел по нему широкой темной ладонью, сметая мелкую стружку, осмотрелся: с левой стороны к его особнячку совсем уже близко подошли новостройки. С их высоты крохотный двор с одичавшими яблонями и дом с прогнувшейся крышей казались, наверное, необитаемым островком...

Василий Николаевич резко, словно почувствовав боль, отдернул руку от верстака: она случайно коснулась колодки. Ненавистные колодки, колодки, колодки... Они заслонили ему весь мир, отравили его душу, сделали ее глухой и черствой. Как, почему, когда случилось такое? Он словно бы и не помнил... Или его мечта о небе была слишком эгоистична? Даже в авиамodelьном, порой забывая о ребятишках, стремился только к своим успехам...

Морща лоб, пытаясь что-то вспомнить, Василий Николаевич потянулся к колодке, взвесил ее на ладони — изящную, похожую — право же, очень! — легкими, плавными контурами на модель какого-то белого стремительного корабля... Усмехнулся коротко, просветленно

и мягко, впервые угадав неожиданное и совсем ненужное, даже нелепое сходство, и, покачивая корабль-колодку, вспомнил самое для него обычное, очень далекое от воображаемых морских волн: сегодня «колодочный день» — и ему нужно нести их заказчику.

И сразу вновь пожухло, постарело его лицо, у рта легли глубокие, резкие складки. Достав из-под верстака мешок, сутулясь и что-то бормоча, Василий Николаевич с привычной отрешенностью сложил в него глухо, словно клавиши какого-то деревянного инструмента, поклацывающие колодки. О чем он думал в эти минуты? Неужели вновь о каком-то фантастическом корабле, корабле, так неожиданно увиденном им в сапожной колодке?..

Сгибаясь под тяжестью мешка, Василий Николаевич вышел на улицу. День был все так же ярок, и по деревянному тротуару, рядом со Жвориным, двигалась его горбатая тень.

— Колодка без мотора! Колодка без мотора!.. — раздался радостный мальчишеский вопль. Но Василий Николаевич будто бы и не слышал его, осторожно передвигая ноги, примериваясь как бы ловчее переступить с деревянного настила на асфальтовую дорожку нового тротуара. Но не переступил, остановился, словно бы к чему-то прислушиваясь.

Где-то совсем рядом раздавались всхлипывания. Василий Николаевич медленно и неловко — ему мешал тяжелый мешок — повернулся налево. За углом его, жворинского, покосившегося забора сидел мальчонка, размазывая грязными кулаками слезы. Всхлипывая, он неотрывно смотрел вверх.

Проследив его взгляд, Василий Николаевич замер, нелепо вытянув шею. Руки его машинально стали перебирать горловину мешка, медленно-медленно опуская его к ногам, да не удержали — мешок грохнулся на тротуар. Но Василий Николаевич даже не вздрогнул. Все так же вытянув шею, он продолжал смотреть в одну и ту же точку: зацепившись за высокую стрелу башенного крана, у дома-новостройки беспомощно болталась большой, ярко расписанный змей... Вспомнил ли Василий Николаевич, глядя на змея, того необыкновенного красного орла, так уже невероятно давно промчавшегося над Тополиной улицей, призывный клетот его мотора, или первую свою модель, улетающую с плоской крыши мазанки неведомо куда, услышал ли вдруг холодные, бессердечные слова врача приемной комиссии: «Летать не будете...»

Плач мальчишки вернул Василия Николаевича из давным-давно минувших дней — радостных и горьких, — ставших вдруг так обманно близкими, вернул на старый, тухлявый тротуар, к мешку с колодками, на который он смотрел как-то слепо, невидяще, а потом и недоумевающе. С таким же недоумением он глядел какое-то время на мальчишку, на заревавшее лицо, пока не заметил в его руке катушку с обрывком тонкой суровой нити.

И тут что-то случилось, что-то вдруг произошло с Василием Николаевичем. Толстые губы его болезненно искривились, белесые, едва приметные, как и у сына, брови поднялись, и на широкий лоб вместе с крупными морщинами набежало выражение какой-то неясной еще озабоченности. Особенно ярко и уже беспокойно озабоченность эта отразилась в его глазах, ставших большими и круглыми из-за высоко поднятых бровей.

Наступив на мешок с колодками и едва не упав, Василий Николаевич хотел было его поднять, но, едва прикоснувшись, резко выпрямился и неожиданно быстро зашагал назад, к своему дому. Он шел к нему не оглядываясь, сосредоточенно и целеустремленно, морщины сбежали с его лба, не было и тени недавней озабоченности в его просветлевших глазах: словно что-то припомнил он, нашел что-то давно потерянное, и вот спешит, стремится не упустить.

Ребятишки, в их числе и потерпевший крушение воздухоплаватель, затеяли на тротуаре веселую игру с сапожными колодками. Одна колодка могла быть и танком, и легковушкой, и кораблем. А приткни их друг к дружке — электропоезд!..

Разыгравшись, они и не заметили как на крыше мазанки появилась сутулая фигура Василия Николаевича.

— Эй, ушастики! — раздался его глуховатый, смеющийся голос. — Бросай к чертям колодки! Бросай их... Всем смотреть в небо!..

Из его рук вырвалась деревянная птица. Потом еще одна, еще и еще... Стремительные, но и послушные воле стоящего на крыше длиннорукого человека, набрав высоту, они описывали над Тополиной улицей, над новостройками, над восторженными, задранными к небу мордашками ребятни торжественный круг.

Василий Николаевич, смеясь, тоже смотрел в небо. Может быть, первый раз за все эти годы... Да, он странный, непонятный для людей неудачник. Пусть будет так. Но счастливый, черт возьми, неудачник! Хоть и поздно, но он-таки осознал это. Свою мечту о небе он передаст ребятишкам. Ведь небо начинается там, где сладко, с горчинкой пахнет разогретым над пламенем спиртовки бамбуком, столярным клеем, где тихо потрескивает рисовая бумага, подсыхая на легких нетерпеливых крыльях стремительных кораблей.

## ИСКОРКА

Пойма реки только издали, с крутоярья, слепила глаза белым раздольем, искрясь по-зимнему холодно. Но обманно холодно. Перевода дыхание, Ольга остановилась, расстегнула шубейку. Грубошерстная кофта «самовяз» жарко охватывала узкие плечи, теснила грудь, и она, досадуя на свою оплошность — что так укуталась? — подумала: «Сколько же еще шагать до реки?»

Среди опавшего ноздреватого снега, прошитого желтой стежкой прошлогоднего сухостоя, яркой ли зеленью молодой травы, лишь плотно умятая тропа еще и сохраняла зимнюю крепость и белизну покрова. Она то шла напрямиком через проталины, то петляла меж ледяной игольчатой осыпи тальникового мелколесья, укутанного туманцем. Белесо струясь, он касался разгоряченного лица и щекотно смешивался с дыханием.

Но и без этого туманца щекотно было на душе у Ольги — и радостно, и волнуяще, и тревожно... Вот ведь — решила, и сама, с а м а, подумать только! — идет к н е м у. Через пугающую безлюдьем и тишиной пойму, в такую даль... Да нет, не такая уж и даль, тут другое: средь бела дня идет на свидание. Николай же там не один, и вся бригада будет знать, почему пришла и к т о она для Николая такая...

И, вновь приостановившись, повторила мысленно: «Кто для него такая.— И нахмурила лоб, от чего нос, чуть вздернувшись, как бы выявил мальчишеские черты ее простенького, чуть скуластого лица, опаленного неярким румянцем: — Правда, кто, скажи-ка? Может, вернуться? Народищу там, и всё парни: вот, мол, видали — приперлась!»

Высвободив тонкую шею из воротника шубейки, Ольга оглянулась на крутой рюрье, где дома и дымы райцентра: их отдаленность отозвалась в ней робостью и ноющим чувством одиночества. И правда, понесло же ее! Одолеваемая сомнениями — идти не идти? — она переступала с ноги на ногу, и оледенелый снег тропинки со стеклянной хрупкостью ломался под каблуками сапог. Ведь не обещала же, и Николай не ждет. Но вот письмо, последнее его письмо... «Теперь уж, Оленька, мне не вырваться к тебе, пока не перемахнем через пойму. Надо успеть, а то развезет и увязнет в болоте. Вкальваем без передыху днем и ночью, тянем нитку газопровода к сухому берегу. А он все далек. Такие вот дела, Оленька. Я тоскую по тебе страшно и все вспоминаю последнюю встречу, и как искали в темноте рукавичку, которую ты обронила, да так и не нашли. И я отогревал твою заокоченелую ручонку — растирал и дышал на нее. Все-все помню, будто это было вчера, а сам думаю: когда же теперь встретимся? Вот если б сумела вырваться на денек, красавица ты моя...»

Ну разве можно было «не вырваться»!.. Только представила, на сколько затянется их разлука... Как тронется лед, да как развезет-зальет пойму! И прямо-таки запаниковала, и словно бы хворь какая одолела: так, во всяком случае, могли подумать подруги-санитарки в хирургическом. Из рук все валится, простую перевязку, и ту толком сделать не может. Бинтует, а сама все представить пытается, что это за «нитка», ежели ее столько уже тянут на том берегу через пойму, а все дотянуть не могут.

Как тут было не вырваться!



И уже снова идя к речке, она не слышала хрустких своих шагов, таких громких в белесой тишине поймы, да и вроде бы не видела ее самую, а мысленно была в хирургической палате своей больнички и бинтовала руку Николаю.

Нет, тогда она еще не знала его имени, и кто он, и откуда. С профессиональным спокойствием смотрела на распухшую, посиневшую кисть правой руки. Очень сильный ушиб, и такая травма, она хорошо знала, хуже и куда болезненнее иной открытой раны — пальцы долго будут как бы парализованы, не шевельнуть.

«Выходит, я теперь только «налево» и смогу вкальвать, одной левой-то?»

Она взглянула на сидящего перед ней парня. В расширенных зрачках боль, а на побелевших губах — улыбка...

«Только для кого у нас там — «налево»?»

«Где это — там?» — спросила она без любопытства: за целый день всячки всячины наслушались — болтливый народ эти пациенты. В весеннюю же гололедицу валом валят — то перелом, то вывих...

«На нитке газопровода. Тянем трассу мимо вашего городка. Слышали небось?»

Она неопределенно приподняла плечи.

«Вот-те раз! — великая стройка, почти три тысячи километров, а не слышали. Темнота! Так я и говорю: что же мне теперь делать, однорукому? Если только вам левую ниточку протянуть? Топите-то угольком. Каменный век!»

Парню, конечно, было совсем не до шуток, но боль по-прежнему отражалась только в его расширенных зрачках да улыбка была как бы ломана, что ли. Но улыбка же, а не страдальческая гримаса!

«Ладно, протягивайте! — улыбнулась она ответно. — Вам же на процедуры ходить да ходить. Так чтоб не порожняком...»

Вот и доходился до того, что и она теперь спешит-торопится к своему Коле-Коленьке, и пойма не преграда... Он тогда еще, на первой перевязке, ляпнул ей: «Ходить да ходить? Да я готов что угодно отшибить, только чтоб было по-вашему».

Меж тальников неожиданно проглянул близкий изгиб реки, и тропа, вывернув из мелколесья, повела Ольгу в прибрежную низинку. Снег на обочинах и окрест тропы был все так же иссиня-ноздреват, игольчат, но ровен и без рыжих пятен прошлогоднего сухостоя и зелени молодой травы.

Ускорив шаг, Ольга с нетерпением всматривалась в противоположный берег реки, надеясь увидеть вагончики строителей газопровода. «Оранжевые, — говорил о них Николай, — их видно издали». Всматривалась, сердце учащало удары, и совсем забылась пугливая мысль: «Николай там не один...»

Тропа здесь была уже не выше, а ниже наста, и если на пойме, оскальзываясь, Ольга ощущала упругость дерна, то сейчас, осту-

пившись, нога всякий раз проваливалась в дряблый снег выше щиколотки. Раз, другой, третий... Идти становилось все труднее, и Ольга, замедляя шаг, вытягиваясь «солдатином», пыталась высмотреть, куда это вдруг исчезла река, такая только что близкая. Наст под ногами был по-прежнему порист, ноздреват, а впереди, где она, щурясь, пыталась увидеть русло реки, колол глаза синева-то-льдыстыми иглами. Их блеск кружил голову, сбивал шаг, и Ольга все чаще оступалась. Раз, еще раз... и вдруг, потеряв опору, правая нога резко, выше колена, ушла вниз, и тут же — ожог ледяной воды...

Свалившись на бок и судорожно высвобождая ногу из провала, Ольга чувствовала, как ломается с жестяным хрустом, оседает под ней от каждого движения хрупкий оледенелый наст. «Это куда же меня?!»

— На тропу, перевались на тропу, там крепше! — услышала она низкий, с хрипотцой голос. — Да не бойся, живо перекачывайся!..

Толком не успев понять, куда же ее угораздило, и не видя еще того, кто так неожиданно оказался поблизости, Ольга послушно перевалилась через спину и оказалась на тропе. Еще лежа, увидела женщину в буром затасканном полушубке. Торопливо разваливая охапку хвороста, она встревоженно смотрела на нее из-под цветастого, низко повязанного платка.

— Встанешь или зашиблась? Погоди, хворосту подброшу. На него и ступай... Вот, теперь шагай смело. Давай, давай, шевелись! В старицу тебя занесло: утонула, может быть, и не утонула, а перышки б насквозь промочила. Да и так, я вижу... Иди-ка быстренько за мной — сушиться будем.

— Где?

— Известно, на солнышке еще рановато — у печки. Или не видишь избу-то мою?

За тальниками, неподалеку от берега, высился шалашик шиферной крыши.

— Что ж ты все у порога-то? Живо стягивай сапоги, чулки, что там еще промокло. И к духовке: она у меня мигом распалится.

Присев у плиты, женщина принялась щипать лучину. Тесак легко впиался в сухое дерево, и лучины, с звончатым треском отделяясь от смолевого полена, падали на железный лист, прибитый под топкой.

— Спасибо, сейчас я...

Куда она попала? Грубо отесанные бревенчатые стены, широкий топчан, застланный цветастым стеганым одеялом, дощатый стол на козлах, над ним керосиновая «десятилинейка» с голубым эмалированным абажуром-тарелкой, выдавший виды старомодный буфет: резные колонки поддерживают громоздкую, с резными же боковинами «горку». Как его сюда приволокли?.. У дверей, на колысках, вбитых меж бревен, пустой патронташ, старый брезентовый плащ с капюшо-

ном, по всей видимости — мужской, так как рядом висела кепка, а на полу высокие охотничьи сапоги большого размера.

«А хозяин... хоть бы его не принесло! — подумала Ольга. — Неловко... И что они здесь делают? Сторожка не сторожка, да и что охранять?»

— Куда ж ты, девонька, спешила? Имя-то твое как будет?

— Ольга.

— Степанида я... Так куда ж ты — к тем, что трубы кладут?

— К ним.

— Выходит, догадка моя верная. А что там — или в продавщицах, в столовке ли ихней? Сказывают, она с ними и ездит, столовка-то. В вагончике, как и все у них, — на колесах.

— Да нет, я медсестра, из райбольницы.

— То-то, я гляжу, все у тебя в аккурате: в вагончиках-то ихних, поди, такого присмотру за собой не соблости. Кочевая жизнь, цыганская... Выходит, дело у тебя там какое?

— Дело...

Что еще могла она сказать Степаниде?

— А ты, гляжу, сникла вся: и с лица и голос... Или продрогла, морозит? Немудрено, окунувшись-то. Ну-ка, дай гляну...

Огонь в плите, разгоревшись, с веселым треском пожирал сухой хворост, из железного жерла духовки несло жаром. Лицо Степаниды размужилось, стало глаже, лишь столъ же резкими остались складки у рта — от уголков губ вниз, да у глаз приметные «елочки». Но если они придавали сейчас глазам веселую ироничность взгляда, то губы продолжали хранить глубокую тень горечи. Такая двойственность черт лица Степаниды создавала ему особую значимость, в которой и черты характера и загадочная привлекательность.

«Красивая, — подумала Ольга. — Сколько ей?.. Немолодая, за сорок, пожалуй, но такая вся ладная».

— Ну-ка, ну-ка... Хоть и не я, а ты доктор, а дай-ка проверю, нет ли жару? Если и нет, то еще и появится, очень даже возможно, — приложив жесткую ладонь ко лбу, она пытливо и сосредоточенно, словно могла услышать, что там у нее под ладонью, посмотрела долгим взглядом на Ольгу. — Не пойму: может, и от духовки так тебя разгорячило.

Степанида сдернула с головы платок — ей и самой, видно, было жарко, и в тугом зачесе каштановых с медным отливом волос Ольга увидела седые пряди.

— Вот что, девонька... Ольга, так звать-то? Самогоночка у меня на случай припасена. Дай-ка разотру я твою ноженьку, да и вовнутрь примешь. Наше бабье дело такое — намаешься, не дай бог, с простуды. Да и я с тобой за компанию глотну малость.

— Нет, что вы... и так обойдется.

— Это кабы знать наперед. Считаю, лекарство тебе прописано, а оно ж не всегда слаще. Да и на дворе уже полдень. Пообедаем. Картошечки с лучком нажарю.

— Ой, нет-нет, спасибо! — едва ли не с испугом возразила Ольга. — И правда — скоро полдень. Тороплюсь я.

— Это куда, опять к этим?..

— На ту сторону, к газопроводчикам.

— Э-э, нет, девонька, не пушу я тебя.

— Не пустите? Да вы что... как это не пустите? — Ольга с недоумением, в котором была и опаска, уставилась на Степаниду.

— Так вот и не пушу. Ишь, как на меня смотрит! Соображай хоть маленько.

— О чем вы? Да я же... дело у меня там!

— Дело по-дельному и делать надо. Утонуть хочешь, нырять-лица? Раньше б о деле думать: лед-то какой нынче? Труха... Или беда там стряслась, болезнь какая, коли так торопишься?

«Беда, болезнь...» Свидание, сама мысль о нем казалась ей вначале глупой фантазией, потому и сомневалась: «Может, вернуться?...» Сейчас же, когда на пути к Николаю возникла неожиданная преграда, то встреча с ним представилась Ольге совершенно необходимой, неотложной. «Это что же, возвращаться, когда совсем уже рядом? Речка, всего идти-то через нее... Знала же, потому и решилась: вот-вот ледоход, половодье, но, выходит, прособиралась. Если бы еще сказала кому из подруг, может, предупредили, отсоветовали. А теперь...»

— Неужели нельзя пройти?

— Ты ж попробовала.

— Так то старлица: ее, может, прогрело.

— Во-во, бо-ольшой знаток сыскался! Из приезжих, что ли? Нашенская-то не поперлась бы. Сообразила. С курсов каких прислали?

— С курсов.

— Оно и видать — больно ученая. Если и старлица не сдержала, а насквозь промерзает — мелководье! — то на быструю и не суйся. Так что вертайся-ка, девонька, от беды подальше.

— Придется.

— Да ты что будто потерянная, или вправду что стряслось у прокладчиков? Так не с тобой же! Или такая сердобольная?.. Да, не шибко с тобой поговоришь. Ладно, сейчас я тебе втирание сделаю. Клади ногу на постель.

Степанида достала из буфета поллитровку с самогонкой и, начав было вытаскивать тугую поскрипывающую пробку, вдруг насторожилась, задержала напряженный взгляд на дверях. Помедлив, вздохнула, резко вырвала пробку из горлышка и плеснула самогон на свою ладонь, подставленную ковшичком.

Нет, показалось Степаниде, послышалось... Сердце замерло: Иван! Но то ли порыв ветра, а скорее самогон этот, припасенный для Ивана, так обострил надежду, что и почудилось столь желанное — идет... Но, видно, и поллитровкой не заманишь. Избаловала она его, угодничая.

«А первачок будет?» — «Как же, Ванюша, непременно, все будет: и грибки, и яблочки моченые, твои любимые. Жду я тебя, Ванечка, приходи...» Но вот уже который раз — пустые ожидания. Надоела она ему, назойливая да на все согласная, лишь бы наведалься... На большее и не надеется. Давно уже поняла — напрасно! — упустила надежду. Да и то — какой ему резон тащиться к ней в такую даль, через пойму? Это попервоначалу все так заманчиво было: река, тальники, травушка, безлюдье — и только они вдвоем... Давно уже перегорела, угасла та заманчивость. Обык. Но все надеялась — до половодья, пока не развезло, появится напоследок. А там уж разлука: жди, когда окрепнет по весне тропа через пойму.

Тропа-то окрепнет, да нужна ли будет ему? И правда, какой резон сюда тащиться, когда у него в райцентре, рядышком, есть к кому наведаться... Знает, все она знает о нем, все его похождения, и все готова простить и все прощает — пришел бы только Ванечка... Любовь? Да какая там... и бывает ли? Просто тоска, просто одиночество, а они неспособны, когда уже за сорок и кончается бабьин век, а с ним и все надежды. И только одна эта тропинка-ниточка: может, придет, может, навестит Ванечка?..

— Переправа здесь с давних пор была. Для огородников. А сейчас ту землю под стройку забрали: песок из реки намыли, сваи бетонные повколачивали. Домишко и остался без надобности. Отец в нем всякое имущество содержал, дежурил...

На столе, в окружении тарелок с солеными грибами, мочеными яблоками, мороженой засахаренной клюквой, исходила паром жаренная до румянца картошка.

— Отдежурил свой срок... — Степанида наклонила поллитровку над граненым стаканчиком. — Давай и тебе глоточек.

— Хватит с меня, и так в глазах помутилось.

— Эко! С одного-то лафитничка? Или вы там больше к спирту привыкшие?

— Скажете! Я вообще непьющая.

— В твой-то годочки... — Степанида вздохнула, поджала губы, отчего складки у рта стали резче. — Дак она и мне не в радость. Ты ешь, проголодалась, поди, вот и не скромничай.

— А вы здесь что же... Переправы, говорите, давно нет, но живете? Да еще зимой.

— Живу! — Степанида усмехнулась. — От такой жизни... Сегодня пятница, вот по пятницам и живу.

— Нет, серьезно, это как же — по пятницам?

— Да уж куда серьезнее, девонька, до того серьезно, что горше некуда... Ты вот все на плащ да на сапоги поглядываешь. Вижу, вижу. Робеешь. А напрасно: не придет он.

— Муж?

— Ох, глупа ты еще... Все мы глупы в твои-то годы. Признайся, сама-то ты к мужу? А-а... Я сразу разгадала — к кому, хоть и утонуть, да добраться! Ну, не сердчай, не сердчай, я ж без насмешки. Ты вот спросила — муж? — а мне теперь все равно: муж — не муж, только бы пришел.

С мученической гримасой Степанида выпила граненый стаканчик самогонки, торопливо закусила и, глядя с прищуром на притихшую Ольгу, продолжила:

— Кликнул тебя твой разлюбезный — и ты уже, как пташка, порх к нему! Ну, не так ли я говорю? Так, потому в твои-то годочки и сама эдакой легонькой пташкой порхала. И допорхалась.

Говорила Степанида негромко, явно сдерживая себя, и от этого голос ее звучал ломко и в нем все явственнее прорывалась горечь.

— Один — шалопаи, да и я в девчонках ветродуйкой была, другой — проходимец — не разглядела, доверилась, а там... И вот, когда Ивана встретила, решила: хватит, бабонька, порезвилась, этого уж взнуздаю и буду держать! Мужик, вниманием избалованный, мастер отменный по столярному делу, но такой же бобыль, как и я. Ну, думаю, приучу его лаской. Здесь вот и встречались: пятница — я тут как тут. Печь растоплю — дымок из трубы, вроде как сигнал: жду, мол, Ванюша... Любовь не любовь, не знаю как назвать, а только без него всю неделю тоска. И по своему дому — семейному — тоска: сколько можно в хибаре этой скрывать? Не девчонка уж... И тут узнаю: с Манькой Шаговой у него шуры-муры. А уже с Иваном уговор у нас был расписаться... Узнав про Маньку, я и решила выявить то, о чем в твои годы не думала, — гордость эту самую. Устроила Ивану развеселую сцену, да и от ворот поворот!

Слушая Степаниду, Ольга то пыталась представить Ивана, их свидания в этом домике и «сцену», когда он пришел «такой тихонький», то мысленно, со щемлящим сердцем, возвращалась к встречам с Николаем и возражала: вовсе она не «пташка», и нет никаких легкомысленных порханий, а все очень серьезно, как только и может у них быть с Николаем. И не могла понять, зачем перед ней, случайной, так разоткровенничалась Степанида... Одиночество, тоска, обиды, все, что накопилось у нее на душе, весь этот горький и тяжкий груз, который хоть как-то обманно временно — но сбросить! — о такой жестокой необходимости не могла, конечно, знать Ольга. Неловко ей было за Степаниду, и досадовала: надо было уйти, не засиживаться. Но и что-то мешало прервать Степаниду, поблагодарить за выручку и угощение да и вернуться к себе.

— И как дальше, может, спросишь ты?.. — Степанида то ли и вправду ожидала каких-то слов от Ольги, то ли нужно было ей помолчать немного: рассказ ее хоть и по доброй воле, но совсем нелегко. И помолчала... — Клянусь я теперь себя на чем свет стоит за ту

самую «гордость». Клянусь и плачу в рев... дура, в мой-то лета да такое взбрело! Раньше, в девках, надо было ее блюсти, а сейчас — ухватиться, закрыть глаза на все, да и держаться... Ходит он теперь и ко мне и к Маньке, и весь разговор его: «Пол-литра будет? Ну, тогда, может, приду...» И ставлю ее, проклятую, и жду. Вот уже, считай, пятый год такая наша любовь тягомотится...

Поправляя прядь волос, Степанида резко провела ладонью по лицу, как бы отрезвляя себя, одолевая свою слабость перед девчонкой, натянуто улыбнулась:

— Раскудаhtалась я чтой-то. Ну да ничего, девонька, лучше наперед знать, как жизнь-то к нам из-за нашей бабьей глупости оборачивается. Так что, считай, на пользу кудахтанье мое. Я о тебе... — И, сострадательно посмотрев на притихшую Ольгу, произнесла запросто: — А то, куда лучше, пожила бы у меня. Речка-то не сегодня в ночь, так завтра стронется. Шустрая она: лед быстро сбросит, и я тебя переправлю. Лодка имеется.

Видя, что предложение ее слишком неожиданно и Ольга колеблется, не зная, как ответить, добавила просительно:

— Славно тут у нас, ти-ихо... Только тошно одной в такой тишости. Смеркнется, сходи к реке, послушаем... Лампу засветим — с керосинкой-то, поди, никогда не вечеровала? Чаек заварим, орешки кедровые пощелкаем, а?

Звезды были крупны, яркие, и Ольга подумала, что такого неба она, пожалуй, прежде не видела. Будто приблизилась к нему. «Это пешком-то, прошагав по пойме два километра...» И не улыбнулась, а вздохнула: не только вечер, но, бывало, и за полночь с Николаем-то. Вот и не замечала, какое оно над ними, небо... А здесь таким вдруг увиделось, должно быть, и от белого под луной раздолья, тишины и недвижной речки — она, будто широкая дорога среди темных зарослей мелкокося, такая странная дорога неизвестно куда, мерцающая от льдистых звезд-искорок.

— Будто дорога, — повторила она вслух.

— Да уж какая там... — строго возразила Степанида. — Когда бы так, ты б сейчас не со мной, а со своим разлюбезным вечер, а то и ночку коротала.

Она-то видела «все как есть»: небо и речку, — видела не впервые, а потому совсем иначе, чем эта девчонка, нечаянная гостья. Без ее фантазий, а с тихим любованием.

— Ждет, поди?

— Николай? — Имя его вырвалось у Ольги невольно, и она, замямвшись, произнесла невнятно: — Не знает...

— Сама, значит... Ох, девонька, напрасно ты так стремишься-то. Мужика, а парня молодого тем паче отстранять, а не жаться к нему. Это еще успеется... Не ты, а он через речку-то сигать к тебе должен.

- Если б мог...
- Хворый, что ли?
- Работа у них, ну... поспеть им надо, пока пойма держит.
- Ишь ты, забота у нее какая! Пока пойма их держит. А о себе подумала? Тебя-то уж не сдержала...

Голос Степаниды был нравоучительно строг, но строгость давалась ей не так-то просто. Правилась ей девчонка, хотелось быть поласковее, разговоры вести задушевные: истосковалась она в одиночестве. Но сердечная же симпатия и не позволяла Степаниде такой «слабости». Быть строже — значит, думала Степанида, уберечь девчонку от беды, а беда-то ой как близко!.. Уж кто-кто, а она-то знает, чем кончатся эти телячьи восторги. Потом мычи-не мычи...

- Он, поди, уже балованный: знает, что прибежишь?
- Да нет же...

— Может, тогда расскажешь, какой-такой он у тебя хороший?

Что она могла рассказать Степаниде, какими словами? О первых свиданиях в их больничке, куда приходил Николай ежедневно, терпеливо перенося все, что делала она с его недвижной рукой? И почему на «свиданиях» этих Николай становился все молчаливее, и почему она острее, чем к кому-либо, чувствовала сострадание к его боли, и почему в их молчании все нестерпимее становилась необходимость высказаться... И Ольга вспомнила, как это у них было. Вдруг пошел мелкий дождь, и нигде было укрыться, и не хотелось уходить, тогда Николай развернул газету, сделал из нее «шалашик», и вместе с ними шептал над их головами дождь.

— Слушай-ка,— Степанида одернула ее за рукав.— Опять шумнуло. Будто бежит кто по льду да петляет...

И вправду было похоже на чей-то бег: кто-то невидимый, но грузный, скользя, резал лед, приближаясь зигзагами из-за поворота реки, и лед потрескивал, звеня, и даже как бы дышал, то оседая, то чуть вздымаясь.

— Сегодня-то еще не стронется — только силенок поднаберется, чтобы от берегов отбиться... Озябла? Пойдем печку протопим, а то к утру выстудится: домишко совсем хилый. Чаек согреем, а он — нас...

И, уже шагая по тропе впереди Ольги, сказала без всякой связи, не оборачиваясь, словно только себе:

— Был у меня такой же бродячий, вроде твоего, из каких-то там наладчиков. Петр... Сердцем к нему прикипела, а он взял да и наладился неизвестно в какую сторону...

Растапливая печь, Степанида взглянула на Ольгу: сидит, ссутулившись, руки на коленях, сухонькие кулачки сжаты, желтый свет от «десятилинейки», отраженный абажуром, положил тени под на-супленными бровями, и глаза стали глубже, печальнее.



Степанида вздохнула: жаль девчонку, совсем еще ребяенок и не очень складная, вроде бы не доросла до девичьей-то взрослости, а уже страдания... И тут же спросила себя: жаль-то почему? — может, все ладно у нее. Себя в ней жалею, так, поди, вернее.

— Или обидела? — спросила она, смягчая низкий голос. — Так все ж мои слова по-доброму тебе сказаны, а то и признаюсь — от зависти да горечи. Ты послушай... Так вот, ожидаючи своего Ивана, растапливаю, как сейчас, печку, а сама и не знаю: придет — не придет ли... Зажгу лучину да и загадаю. Горит, потрескивает, смольца из нее каплет, пламенем полыхает, а потом, глядишь, — и дымок, и вот уже чадит лучинушка, а вот и погасла... Это к чему я тебе? Не каждой искорке, девонька милая, разгореться дано. И о себе горюю, и тебя уберечь хочу. Парень твой, Николай... Почему я Петра, наладчика-то давнего, помянула? — газопроводчики эти сегодня здесь, а завтра ищи где, ушагали за своими трубами. Уговор-то какой у вас был?

— Был.

— Так куда же тебя возьмет разлюбезный твой: в вагончик цыганский?

— Электросварщик он. Как доведут трассу, на завод вернется, Тогда и...

— Ну, дай-то бог, милая! Не сердчай на меня: язык мой хоть и бабий, а не злой, ты уж верь... Доставай чашки, сахарок там, в буфете. Чаевничать будем.

Сама же, помедлив и чему-то усмехнувшись, какой-то, видно, невеселой мысли, пошла в дальний угол, к ларцу, сбитому из неокрашенных досок. Громко стукнула откидной крышкой. Достала из него два укрытых блюда, поставила на стол, сдернула с них полотенца.

— Гуляем мы нынче с тобой: шанежки с творожком, пирожки с морковью, а эти, уголком, с капустой. Понапекла... Спасибо, не оставила меня одну, гостюшка милая, куковать бы тут да ждать-надеяться. А жданки-то давно вышли, ясное дело, только характеру не хватает, чтоб себе же и признаться.

— Зачем вы так? — робко возразила Ольга: жалко Степаниду, и неловко слушать такие признания. Чужую боль она ощущала не единожды в своей процедурной палате, и как-то уже притупилось сочувствие, но душевная боль, бывает, оказывается, куда острее.

— Зачем вы так? — повторила она. — Еще наладится все, придет...

— А как же, явится, коли пожелает, на ночь-другую, и радешенька буду... — Комкая полотенце, Степанида умолкла, отвела взгляд, притушила веками их черный сухой огонь. И тут же, вскинув голову, рассмеялась. Низкий, глухой голос ее не очень-то гибок, и потому неожиданный, столь неуместный смех был фальшив и неприятен.

— Что ж это я только разговорами потчую. У меня ж виноцо есть сладенькое, скляночка непочатая.

Достав из буфета бутылку и ловко ее распечатав, Степанида плеснула на доньшко в стакан Ольге, себе налила полный и, закрыв глаза, одним духом его опорожнила.

— Вот...— недосказав, уткнулась в ладони и сидела так, чуть раскачиваясь.— Ты попробуй, попробуй, винцо-то особенное...— Раздвинув ладони, Степанида смотрела меж них, как Ольга с опаской, глоток за глотком, выпила ту малость, что была в стакане, и утерла губы рукой.— Закуси пирожком морковным, он такой же сладкий, как и винцо. Дареное оно. Но особость его совсем не в сладости. Я уж тебе скажу — в чем... Было дело, заявился ко мне Иван, да такой добренький, ластится, будто побили крепко, а я, значит, те болячки его зализывай... Скулеж один, а не мужик. И бутылочку эту самую на стол: все, говорит, кончаем мыканье наше! Уедем куда подальше отсюда, чтоб дурной памятью не разило. Но я то враз сообразила, от чего он такой добренький: с Манькой у него разлад случился — потому и скулеж и бутылочка на дальнюю нашу дорожку... Только на другой день он у Маньки же и успокоился...

Ольга вяло жевала морковный пирожок: может, был он и сладок, да только какое удовольствие под такие-то откровения Степаниды? И уже не столько ей Ольга сочувствовала, сколь досадовала. Это же надо так разоткровенничаться, нисколечко не смущаясь, все ей выкладывает. Зачем?.. Нет, случись у нее что с Николаем, да она бы... она бы зубы стиснула, ушла куда от людей, чтоб слез не видели, но даже наипервой подруге Вальке Кромкиной ни словечка бы не сказала, а пережила...

Но от одного только предположения: «случись что у нее с Николаем» — кровь прихлынула к лицу и забилась в висках. Будто не Степанида, а она опорожнила полный стакан вина, и шум в висках мешал понять, что там еще говорит хозяйка.

— ...мне бы только ребеночка, и ничего больше не надо от Ивана. Пусть катится к Маньке, к кому еще... А он бы со мной всегда, всегда со мной, родненький. И было б кого любить, и меня б кто... Так нет мне ни Ивана, ни ребеночка!

Бутылка была пуста, чадил фитиль в закопченном стекле «десятилинейки». Умолкнув, Степанида отчужденно смотрела перед собой и всеми мыслями была где-то далеко-далеко.

Ошеломленная чужой бедой, Ольга долго не могла уснуть. Недавняя ее досада схлынула, и явилось иное, неведомое ранее: страх не страх — боязнь за самое себя. «Вот ведь какая может быть жизнь». И вспомнила Вальку Кромкину: года не прожила после развеселой свадьбы — развелась. А такая была промеж них любовь! Поженились, развелись, сошлись.. Слова-то привычны, сколько раз слышаны. В них и радость и горесть, всякое, но могла ли она думать — что и такая боль... И видела глаза Степаниды, вспоминала каждое ее слово... и тот легкий дождичек и шепот под газетным шалашиком.

В темноте багрово светились угольки: провалившись сквозь решетку из топки в поддувало, коротко вспыхивали и меркли. «Вот ведь какая может быть жизнь...» — повторяла Ольга. И не приходил сон.

— А и худющая ты, девонька! Куда ж это годится... Знаешь, что мужики о таких цыплятах говорят? — и подержаться не за что. Так что давай нагоняй тело, а то разглядит тебя как следует твой Николашка... Ладно, ладно, не серчай! Дай-ка я тебе солью.

Промолчала Ольга, послушно склонилась над тазиком, хоть и захотелось ей впервые сказать Степаниде что-то резкое. Все бы ей поучать. И какими словами! Но сдержалась. Зябко поводя голыми плечами, подставляя ладони под холодную воду, ахая, плескала в лицо, обтирала шею.

— Ни-ичо-о, молодцом! Ты сейчас у меня как яблочко румяное будешь. А ну — еще ковшичек... — Словно и не было вчерашней тяжелой исповеди и бутылки вина: так бодря и весела с утра Степанида. — Погодка славная, я уж выглядывала... Речка нынче обязательно стронется и лед быстренько скинет. Все повадки ее мне ведомы: шустрая она. Переправлю... Сегодня суббота, а на работу тебе когда срок?

— Три отгульных у меня, за дежурство. Значит — в четверг приступать.

— Свободно обернешься. Скажешь только, когда за тобой лодку подгонять.

— Спасибо...

И тут, поспешно опустив ковш в ведро, Степанида замерла. Взгляд ее метнулся от окна к двери, а сама она застыла в каком-то странном устремлении — недвижимом, напряженно слушающая.

«Что это она... кто-то идет? Ну, да, наверное, шаги. — Подумать иначе, глядя на Степаниду, Ольга не могла, хоть никаких шагов еще не слышала. — Да это же Иван!..»

Они разом метнулись — Степанида к дверям, Ольга к кровати: схватила кофточку и поспешно, не вытираясь, натянула ее, путаясь в рукавах.

За Степанидой хлопнула дверь, и в тишине, показавшейся Ольге очень долгой, она услышала наконец хруст снега под тяжелыми шагами. Вот они затихли у самых дверей, и донесся говор — какая-то скороговорка, гибкая, почти без пауз. Ей показалось, что говорит только Степанида: глухой ее голос был неузнаваемо распевен и ласков.

«А он молчит. Винават, потому и не пребывает... Пришел ведь, пришел-таки, я же ей говорила! — И повторила вчерашнюю, ставшую такой назойливой фразу, в которой разом уместилось ее недавнее удивление, сочувствие и все более нарастающая тревога: «Вот ведь

какая может быть жизнь...» Тревога эта, еще не осознанная, пробудившись вместе с Ольгой, не оставляла ее с утра. Только холодная вода как бы притушила ее, а заодно и раздражение, вызванное словами Степаниды: «Разглядит тебя как следует твой Николашка...»

Но сейчас-то она искренне рада за Степаниду. Какие вчера были у нее глаза, сколько в них боли, отчаяния: и не произнеси она тех страшных слов, все выдали бы глаза.

И только тут Ольга подумала о себе, сообразила наконец-то, что теперь она Степаниде не нужна, теперь-то она лишняя и ей надо уходить... Схватив сапоги с предпечья, села на табурет да так и замерла в неловкой позе, склонившись к полу и подняв в напряженном ожидании голову.

Дверь открылась медленно, и так же медленно вошла Степанида. Одна. Дверь за нею закрылась, но Ольга все еще сидела, нелепо согнувшись, с сапогом в опущенных к полу руках. Ее поразил вид Степаниды. Будто не она была так возбужденно-бодра только что. В медлительности Степаниды была усталость от какой-то непомерной тяжести, страшная усталость во всем теле и опустошенный взгляд.

— Чего уставилась? — спросила она грубо.

— Как же теперь мне...

— Что мямлишь-то, не пойму!

— Пришел же, и я сейчас...

— Кто пришел? Рехнулась! Прише-ел... Сергун это, Се-ергун, ясно? — И, видя недоумение Ольги, добавила: — Лось мой... ту-тошний.

— Как лось? Я подумала...

— Она подумала, — с издевкой повторила Степанида. — Да если бы ты могла думать, глупая, то не приперлась бы сюда, не ждала, — умолкнув, она перевела дыхание и продолжила мягче, словно и не с Ольгой, а опять с лосем вела распевный разговор: — Сергунчик меня навестил, милый мой, ушастенький. За сухариком приходил. Он-то знает, в какие дни, он хоть и зверь, а понимает, и душевнее он и вернее...

Но ненадолго уравновесила себя Степанида: слово за словом — все больше в них ярости и желчи:

— Иван, Петр, Николай... да пропади все они пропадом! Закрутят голову, а ты сиди дура-дурой, надейся... И твой разлюбезный хорош: трассу он, видишь ли, доведет и на завод вернется. Как все ладненько... Да после длинного рубля, что он на трубах этих зашибает, его на завод палкой не загонишь. А ты развесь уши и жди!.. Да если б еще красавка была, а таких у него за эти три тыщи километров... Что там шепчешь-то? Нет, ты езжай, езжай к нему! Перевезу. А потом, знаешь, дуреха, что будет потом? Едва отчалишь обратно — такой треп да гогот поднимут, за версту слышать! Для них это слаще выпивки, порезвиться над нашим полом...

Направившись к двери, Степанида задержалась и глухо, не глядя на Ольгу, сказала:

— Печку... золу из нее выгреби. Схожу пособираю чем протопить. Ольга поднялась с табурета как бы оглушенная, послушно направилась к печке; ноги, обмякнув в коленях, плохо повиновались, и шаги ее были замедленны и валки. Взглядом проводив Степаниду, она какое-то время, недоумевая, смотрела на сапоги, брошенные посреди комнаты, подойдя к печке, взяла шумовку, но, не удержав, уронила в мусорное ведро, стоящее у печки.

Грохот железа словно разбудил ее.

«Что же теперь? Как она со мной... что говорила! «Вернется, жди... Зверь и тот вернее».

И все вчерашние сомнения, навеянные Степанидой, и тревога, недавно еще не осознанная, и крик, все еще не умолкший в ее потрясенном сознании, слились воедино. И не было у нее сил избавиться от этого кошмара.

Но ведь писал же ей Николай: «Я тоскую по тебе страшно...»

И, опустившись у печи на пол, Ольга заплакала.

Но ведь писал же он ей, писал: «Красавица ты моя...»

Бросив охалку хвороста перед топкой, Степанида заглянула в печь. Чисто. Нет золы и в поддувале. «Ишь как выскребла, работница...»

Растопив печь, Степанида наполнила чайник водой, поставила его на огонь и, опустившись на табурет, расслабилась, сникла. Румянец, принесенный с улицы, исчез, на поблекшее лицо вернулись морщины, выявив и возраст Степаниды и все, что творилось в ее душе, измученной мелькнувшей надеждой, в которой — самообман и унижение.

Как бы выйдя из дремы, Степанида поднялась с табурета, суетно осмотрелась.

— Куда ж ее?.. — подумала вслух. — Наплела я ей с горячки-то, накричала. Обиделась, конечно, девчоночка: свою беду да на ее плечи...

Бормотнув что-то еще, накинула шаль и вышла из дому.

— Ольга!.. Да куда ж она?.. Мать моя, неужели додумалась, неужели ее т у д а понесло?! Вот бестолочь, вот пустоголовая, что если и вправду на ту сторону? Пропадет!..

Степанида бросилась по тропе к речке, ускоряя шаг, оступалась, едва не падала, волоча спадающую шаль по снегу.

— Ольга, ве-ернись!..

Тальниковая чащоба, заслоняющая речку, кончилась. За нею, слепя глаза льдистой чешуей наста, крутым изгибом тянулась к реке старица. Тяжело дыша, Степанида прошла еще немного и остановилась, обессиленная, подавленная.

Только пойма, только старица, только вздыбленный лед реки.

И тут она поняла...

— Злыдень, какой злыдень! Что наделала... что ей наговорила, дрянь, бессердечная дрянь! Отравила ж девчоночку, душу ее грязью...

Вернулась глупенькая, ушла девчоночка, не ему, а мне, мне, злодейке, поверила! Беда, какая беда, господи!..

Причитала слезным голосом, оплакивая и свою горькую жизнь одиночки, прожитую ни для кого, и девчонкины страдания, которые еще все впереди.

## ЛЕСНАЯ МУЗЫКА

Семен уже знал: стоит ему только подойти к пустырю, где был некогда усовский дом, как он опять услышит э ту музыку. Дом сгорел в такую же точно пору — в ясный день поздней осени, сгорел ярко и как-то поспешно, словно бы торопясь подняться дымом в холодное, синее небо. С того пожара на кордон приходит десятая осень. И только нынче, где-то с середины лета, Семен стал опять слышать ту, так давно умолкшую музыку...

Немного подволакивая ногу, всегда немеющую после полудня, он медленно, чуть выставив левое плечо, приближался к старому пожарищу. Под толстыми подметками сапог мягко шуршала вялая, не пересохшая еще листва, и можно было подумать, что Семен вслушивается в неясный ее шепот — так сосредоточенно-выжидающе было его сухонькое, удлинненное, заросшее седой щетиной лицо.

Но смотрел он не под ноги, а туда, где некогда высился двухэтажный бревенчатый особняк с просторной верандой-фонарем. Бывший помещичий дом — летняя усадьба генеральши Усовой — стоял на чуть приметном всхолмье, в широком полукольце престарелого березняка. Много годов каждое лето в нем проводили пионеры, и лесную, волглую по утрам тишину Семенова кордона будили резкие вскрики горна. Но совсем не эта «музыка» чудилась ему уже, почитай, с июля. И он знал, почему.

В то последнее лето приехала с ребятишками новенькая учительница. И вместе с ней во втором этаже, в угловой спальне, поселилась музыка.

К вечеру, обойдя-объехав свое лесное угодье, Семен спешил домой, зная, что у крыльца, с нетерпением ожидая его возвращения, уже топчется Юрка. Деловито, с не изменяющим никогда аппетитом опоражнивая глубокую миску какого-либо варева и чувствуя, как, все более и более охватывая и волнуя, передается ему неведомо как нетерпение сынишки, Семен, однако, сохранял степенную неторопливость. Медленно, глоток за глотком, он выпивал кружку черного дымящегося чая и, разомлевший, утерев полотенцем взмокшие, как после бани, лицо и шею, вяло вставал из-за стола.

Они вместе выходили из сторожки, и Семен, исподволь приглядываясь к Юрке, каждый раз с удивлением угадывал, что у сынишки, как и у него самого, перегорев, гасло недавнее нетерпение,

и они шли какой-то замедленной, настороженной походкой, словно боясь кого-то испугнуть. Во всяком случае, у Семена шаг становился вроде бы мягче, хоть и порядком уматывался он за день, и сердце стучало куда как шибче привычного. Окольная тропка выводила их к усадьбе, и они, усевшись на широкий пенёк от старой поваленной в грозу лиственницы, терпеливо ждали.

Музыка возникала всегда как-то робко и была непонятна Семену. Но он уже знал, что еще немного — и звуки обретут упругую силу, и ему будет чудиться, что кто-то большой, сильный и непременно прекрасный поет, сомкнув губы, но все ясно, хоть трудно дышать и в груди поселяется странная щемящая силища. Подолгу не умолкала скрипка, а Семен все сидел, и ни одна земная забота не приходила к нему сюда... Лишь иногда, взглянув украдкой на Юрку, с недвижной восторженностью слушающего музыку, он досадовал, что так и не собрался до сей поры в город. Решили они с женой купить баян и ранним утром поставить его на табурет у кровати спящего сына.

Купили, поставили. Да только ни восторгов, ни игры, к огорчению своему, не дождались. Та лесная музыка — больше никому! — заразила-наставила мальчишку совсем на неожиданный для отца и матери лад...

Немного не дойдя до пожарища, Семен опустился на знакомый ему пенёк. Перед ним, на округлой, огражденной толстенными и словно бы — смотря со стороны — заиндевельми стволами пустоши, пестрой от пожухлых трав и желто-рыжей листвы, четко выделялся большой прямоугольник, заросший полынью. Откуда она здесь? Уже на другой год после пожара, когда Семен выволоч на дрова уцелевшие балки, что держали пол первого этажа, высоко поднялись сизо-голубые бархатистые метелки полыни. Почему-то она всегда появляется там, где отступает человек, и до поздней осени, будто давая понять, что куда как жизнестойка и все ей ничо чем, цветет полынь пусть невзрачно, желтовато-тускло, но долго.

Совсем не упрямство полыни занимало сейчас лесника. Семен ожидающе посмотрел на молоденькую лиственницу, что когда-то совсем еще тонкая тянулась к тому, сейчас уже не существующему окну сгоревшей усадьбы. Освещенная сбоку низким осенним солнцем, лиственница казалась сотканной из золотых нитей, до того тонких, что и не дохни — облетит. Но дыши не дыши, а нынче в ночь она непременно осыплется... А может, слышится ему порой та давняя музыка не потому, что приезд Юрки-студента напомнил былое, а приходит она к нему взамен тех видений, которые будто бы непременно являются перед близкой кончиной? И ему уже не увидеть, как по весне покроется лиственница-молодуха зеленой, душистой, мягкой, как пух, хвоей...

Мысль не покривилась Семену, и он в сердцах прихлопнул подметкой черно-коричневый кругляк, осыпав сапог рыжей, пере-

сохшей пылью «дедушкиного табака». Ругает он себя за такие вот глупые наваждения и пуганул бы их крученым словом, кабы был где в другом месте. А здесь не может: место это особое.

И тут словно бы хруст какой прошел над голоствольным лесом, и Семен, забывшись, закрутил мудреное словечко: за близкой седьмой просекой позже обычного затарахтел экскаватор. Значит, все ж таки рюют! Скривив рот в досадливой ухмылке, Семен не сдержался от злого укора: «Строители, чтоб им!.. Все лето раскочивались, а землю рыть в самые дожди угораздятся». И сплюнул раздраженно и пренебрежительно.

Недовольство это было вызвано совсем не медлительностью строителей. Какое дело Семену до этих котлованов? Рюют, значит, надобно. Пустошь всегда укор для хозяйского глаза. Только вот в негожую пору начали — осенью... Болтать-то давно болтали: прямо, мол, за седьмой просекой и начнут ставить текстильную фабрику. Может, лет пять болтали с дотошными подробностями. Семен верил и не верил, а потом свылся с такой противоречивой неопределенностью, в нем поселившейся. О чем длинно говорят, то коротко забывается.

А миновшим летом вдруг объявилось: строят! И с этой вестью к Семену пришла совсем неожиданная тревога, от которой ему уже никак не отгородиться.

И сейчас, слушая прерывистый, то натужный, то какой-то расслабленный шум экскаватора, Семен думал, что никому уже не нужны его каждодневные лесные обходы да объезды, как и сам кордон — старый, неказистый домишко...

Беда совсем не в том, что за седьмой просекой поднимутся корпуса текстильной фабрики — строят-то ее на пустоши, лучшего места не сыскать, а в том, что просека станет шоссейной дорогой, вдоль которой поставят пятиэтажные дома фабричного городка. На фабрике же, известно, будет не одна сотня рабочих. Да семьи их...

«Человек — он приживчивей тополя, — размышлял Семен. — Тополь что — воткни черенок в землю, поднимется одно дерево, а поставят дом — через пару лет он уже тесен. Ставь новый... Это только попервоначалу — сотни рабочих, а там и на тыщи счет пойдет. А лес... что станет с лесом заповедным?»

И Семен думал, тревожась и недоумевая: как же так можно допустить? Лес-то его редкостный, первой группы лес. А значит, в нем дозволена лишь санитарная рубка ухода, что значит выборочная, та, где перестойный лес. Так его и нет, перестойного: чистый да звонкий, здоровый, одно загляденье... И Семен мысленно видел его весь, участок за участком. Могучая золотоствольная реликтовая сосна, древнейшая на земле... Итальянская пиния. Белая веймутова — американская красавица, серо-зеленую серебристую хвою поднимает на полсотни метров от земли... Румелийская. Черноствольная австрийка — самая



что ни на есть смолоносная. Редчайшее сочетание пород. А какая здесь липа, дуб какой! Живая красота...

С трудом дотянувшись до земли, Семен поднял округлый, словно золотой червонец, лист осины, провел заскорузлым, плохо гнущимся пальцем по белесой прожилке. И опять вспомнил о сыне. Так вчера и не пришел Юрка. От города до кордона — два часа пешего ходу, а он и в воскресенье не навестит отца с матерью. Вишь ли, последние дни сухие стоят, и он-де спешит «закончить стенку». Художник... как его? Монументалист! Ежели бы только в стенке той дело. Может, и права мать... Понапекла вчера, понаготовила, кролика зажарила, глаза проглядела — да все зря. А потом хуже той пилы терзала Семена за Юркино неуважение и за дурную — иначе и не сказать — женитьбу его вопреки материнским слезам...

Глубоко, до всхлипа в груди, втянув воздух и дунув на осиновый лист, Семен проследил, как, соскользнув с ладони, тот невысоко вспорхнул и желтой невесомой баброчкой опустился неподалеку на зеленую еще траву. Однако спешит-шагает время. Совсем вроде бы и недавно собирал он для Юрки с ранней до поздней осени листья со всего лесного разнообразья, какое только и было на его «квадрате».

Отбирал-выскивал самые чудные — от чуть тронутых осенней позолотой, но еще волглых, то нежно — то темно, то иссиня-зеленых, то кроваво-пылающих листьев. И Юрка часами, забыв обо всем, как и на том пне старой лиственницы, сидел над гладко обструганным обрезком доски, выкладывая, выклеивая на ней необыкновенно живые картины. И Семену казалось, что он узнает возникающий из листьев лесной уголок: березнячок, запруду, ветхий мостик через нее и даже уголок закатного неба. И от картины пахло лесом, землей, травами, пахло взаправдашно, чуть щемяще. И, уже глядя на сына не без тайного удивления, едва ли не с почтительностью, Семен говорил себе, что терпение и особенно такое неожиданное пристрастие в мальчишке — от той предпожаровой лесной музыки, которую привозила на усадьбу молодая учительница.

Юрку величали в областной газете мудреным словом «флорист» и, рассказывая о выставке его лиственных картин, прибавляли уважительно: «неожиданный, глубокий, яркий...» А Юрка каждый день в любую погоду ходил по лесной тропке в поселковую школу, не боясь ни осенней густой темени, ни лесных загадочных голосов, ни зимней стужи. И думать не думал о Москве.

Да, вроде бы недавно все это было, а сына не узнать. Не то чтобы вырос — вытянулся, хотя остался все так же тощ и узкоплеч. Да вот еще обзавелся в этом году очками — с таких-то лет, в студенческом еще звании! Семену же седьмой десяток скоро сравняется, не держал очков сроду, а видит, ровно сын в ночи.

Но не в очках все дело — в характере Юркином. А сказать понятней — в его дерзкой женитьбе. В начале лета, приехав из

Строгановки, заявился с сухопарой — под стать себе — девчонкой, с пацаном-двухлеткой на руках и объявляет: жена, мол, Настя, городская-местная, расписались еще прошлой осенью, в день возвращения в институт, а потому и не успел познакомиться. Ребенок? Звать Витькой, и теперь он, дескать, мой сын... Мать до сих пор не оправилась от такой радости: мальчишка ведь еще, а нашел себе брошенную да с чужим довеском. Или в Москве, в институте том, ничейных девчонок нет? Да и у нас, в городе...

И что же он матери ответил, очкарик этот? Ничейных, мол, сколько угодно, а та, которая моя, — сердечная, только одна и сыскалась — Настя...

По правде сказать, Семену надоели материнские причитания. Да и в неожиданном выборе сына и в той спокойной твердости, с которой он выслушивал материнские упреки, Семену виделись все те же, всегда удивлявшие его, непонятные ему, но находящие отзвук в душе Юркины самостоятельность и упрямство. Потому каждый раз, в редкие приезды сына, он, будто оберегая его от материнских упреков, а попросту спеша выговориться, был заводилой всех разговоров. Но получалось так, что чаще всего в них звучала его собственная беда.

«От леса-то теперь что останется, когда городок в нем, а там и хозяйства разные пойдут, гаражи да мастерские, и людей не счесть... Какая голова думала?»

«Ну-ну, отец, а как же быть? Стройка есть стройка: значит, так нужно. Засиделся ты здесь, а прокатись по стране — везде нынче строят. Город наш — и тот не узнать».

«Что мне город — пропадет лес-то!»

«Не пропадет, будет вроде лесопарка. Слыхал о таких? Послужит людям».

И сын, почему-то вспомнив о своих картинках из листьев, говорил тогда о них, снисходительно посмеиваясь над увлечением своей юности, над их недолговечностью. Где они, те его лесные картины? Высохли и осыпались трухой. Вот, мол, и сама природа отступает перед нашествием времени — к кордону город-то подошел! А потому ее нужно воссоздавать фундаментально... Слова эти показались Семену столь же громоздкими, как и те, еще не построенные пятиэтажные дома в лесу. «Воссоздавать фундаментально» — это природу-то! А значит, и лес его...

Семен догадывался, что значат так озадачившие его Юркины слова. В городе сын «делал стенку» — это была дипломная работа выпускника отделения декоративно-монументальной живописи. На стенке той, лет семьдесят бывшей просто кирпичным забором, огораживающим территорию ткацкой фабрики, уместилось многое. И чтобы увидеть все разом, Семен — в тот первый свой приезд — перешел на противоположную сторону улицы, к другим таким же любопытным. Всяк прохожий и не захочет, а остановится: картина прямо на площади, на стене фабрики — дивно...

В левом верхнем углу стены Семен узнал силуэт «Авроры». Освещаемые желтым ее лучом, расширяющимся на четверть стены, неслись ярко-красной лавиной конница, пулеметные тачанки. Четкими силуэтами, один за другим — красноармеец в буденовке, моряк, рабочий. За их спинами — заводские трубы, цеха. И вперекрест лучу «Авроры» — огненные трассы ракет, устремленных в космос.

Семен медлил переходить через улицу, к сыну. Он молча смотрел на стену, на все эти цветные силуэты, так далекие от реальной природы, которую они изображали, но и одновременно так похожие и необъяснимо волнующие... Смотрел на сухонькую фигурку Юрия, совсем, казалось, немощную рядом с громадной стеной, и удивлялся уже не тому, что изображено на ней, а опять-таки неотступному упорству сына. Все лето он у своей «стенки». Потный, усталый, да и силенок ему явно не хватает на такую громадину. Однако и отдыха не дает себе, а заодно — помощнику, товарищу, студенту того же института.

«Ну, как находишь? Впечатляет? — спросил Юрий и, не дожидаясь ответа, очертил скребком на стене, покрытой цементом, большой овал. — Здесь вот, в этом кадре, будет колхозное поле. Ну, а какое поле без комбайнов и безрезок?»

«Какие же они будут, безрезки?» — спросил Семен, и в голосе его неожиданно прозвучала усмешка.

Нет, ему приятно было видеть сына в таком обличье: кирзовые сапоги, тяжелый брезентовый передник, старая клетчатая ковбойка с высоко закатанными рукавами. Вся одежда, как и руки Юрия, перепачкана цветным цементом. Прямо мастеровой человек, умелец, каких Семену довелось видеть в давнюю пору своей молодости: с неторопкой, даже важной медлительностью, внушающей завистливое уважение и робость, они ремонтировали зимний особняк Усова и домовую церковь при нем.

Весь этот необычный фронт работ — грубо сколоченные подмостья, широкие деревянные ящики, наполненные жидким цементом: желтым, красным, черным, и совсем неузнаваемая, некогда рыжая кирпичная стена, на которой сын пытался запечатлеть целую эпоху, — все это было понятно Семену, и смотрел он сейчас на Юрия с тем тайным удивлением, в котором и доля почтительности, как и тогда, перед мастеровыми. Но в то же время не отступало чувство неосознанное, похожее на досаду. И он переспросил упрямо, уже не скрывая усмешки:

«Дак какие же они будут, безрезки-то?»

«Цветовая гамма ограничена, — мудрено сказал Юрий. — Цемент! Крона синяя, стволы серые. Но в приглушенных тонах есть своя прелесть...»

И, объясняя отцу технологию такой настенной росписи, он говорил, что цемент наносится на всю стену послойно — серый, желтый, красный, синий, а когда затвердеет, его снимают скребками, придерживаясь рисунка, до нужного цвета.

Семен, конечно, слушал Юрия не без любопытства, хоть и совсем в другом обличье представлялись ему сын-художник и работа его. Уж больно тощ он для столь трудного дела. Передник-то, как на колу, болтается. И что заставило Юрку променять те живые его картины на забор этот, на цемент синий?..

А сын между тем говорил замысловато, но все же понятно, что в росписи такой не просто пропаганда, но прямое отражение дней наших, и, скажем, те же березки будут украшать эту стену и город многие годы: не страшен им ни дождь, ни мороз. На что старый лесник про себя возразил: «А мне дак березы привычнее те, которые живые, а не из цемента. И страшны живому лесу не морозы, а людское недомыслие».

...Экскаватор за седьмой просекой шумел все назойливее и вроде бы громче прежнего. Или там их собралось уже несколько? И Семену вдруг представилась такая необычная картина. Сидит он, как и сейчас, на старом пне, а вокруг рядами пятиэтажные дома, и на всех серых стенах — Юркины березы из синего цемента. И даже почудился его голос: «Природу нужно воссоздавать фундаментально!..»

Шумел экскаватор, и молоденькая лиственница мелко, словно в испуге, дрожала тончайшими золотыми нитями. Или так только казалось потому, что разморгалось ему ни с того ни с сего и он, уткнувшись локтем в колено, прикрыл глаза ладонью.

Сейчас бы Семен больше всего хотел услышать... нет, не ту, спугнутую экскаватором музыку, а треск мотоцикла и сиплый от постоянных разъездов голос Епифанова — облісполкомовского инструктора, давнего друга. Это он притарахтел тогда на разбитом своем мотоцикле по осклизлой после дождя тропке и крикнул, не заходя в избу: «Нынче начнут фабрику-то!»

И теперь бы услышать его мотоцикл... Да что-то давненько не появляется Епифанов на кордоне. Зря, видно, прозвал его Семен «лесным человеком». Вроде бы и жило в Епифанове особое приращение — каждую неделю появлялся на кордоне, и не из-за грибов-ягод или там охоты, а так вот, запросто любил он походить по тропкам, послушать Семеновы разговоры о лесе да о жизни, а если какая забота, просьба ли, то передать их исполкомовскому начальству, в лесничество. И подтолкнуть там и напомнить кому надо...

И вот сгинул куда-то «лесной человек» Епифанов, сгинул, когда так нужны Семену его совет и заступничество. И в лесничестве помалкивают, словно и нет беды.

«Или в бумагах своих инструкторских завяз? — гадал Семен. — Или в другой район Епифанова кинули? А может, не дай бог, свалился где с двух колес-то?.. Или все куда как просто: не может ничем помочь, вот и петляет от меня...»

Семен встал, подволакивая правую ногу больше обычного, зашагал мимо старого пожарника к кордону. Не дойдя до него, замедлил шаг, со странным для себя интересом разглядывая старый дом с прогнувшей-

ся крышей, обросшей коричневым мохом, крольчатник, огороженный металлической сеткой, широкую дорожку, идущую от крыльца, мимо часто, но голоствольного сейчас мелколесья, к запруде и через заосток. И ему вдруг увиделась та, сложенная Юркой из листьев живая картина, и дохнуло в лицо взаправдашним, еще зеленым лесом и непожухшими травами, недавно омытыми дождем и пригретыми солнцем.

Свернув к сараю, Семен бесцельно, в неприятной досадной растерянности постоял у приоткрытых дверей, за которыми размеренно и аппетитно хрустела свежим сеном старая его пегуха. Подошел к обшарпанной таратайке, тронул ее дырявый короб, вяло подумал, что надо его все ж таки оплести ивняком, взглянул пустым, рассеянным взглядом на оглобли, круто задранные в небо. В раздумье помял седую щетину щек, и на сухоньком его лице вдруг проглянуло неожиданно знакомое выражение, Юркино мальчишечье упрямство — над доской с пахучими листьями, на подмостях перед стеной с застывшим цветным цементом, в споре с матерью...

И, озлясь на эту свою растерянность, на раздражающий шум экскаватора, на совсем онемевшую ногу, Семен резко ухватился за оглобли, напрягшись, рванул на себя, стремясь перетянуть таратайку, и оглобли с такой силой хрястнули оземь, что Семен, чертыхнувшись, упал и так, не вставая, принялся их торопливо ощупывать: не обломал ли сдуру? И потом, обретя спокойствие, присев на оглоблю, завел мысленный разговор.

«Куда бы все проще, найди я Епифанова. Пошли бы с ним к Николаю Федоровичу. Да только где он — Епифанов? А не найду, сам возьму в оборот председателя. Так, мол, и так, вспоминая теперь — рассказывай промеж делов, Николай Федорович, о кордоне, о лесе заповедном, охотничек, — какой он был, и что с ним случилось. Ты же большой знаток... А ежели всерьез, то послушай, председатель, городок-то, что при фабрике, его ведь куда сподручнее западнее строить, где пустошь. Сколько раз ездил, прикидывал! Сколько раз... Там, конечно, вражек между фабрикой и городком оказывается. Овражка-то, видно, и испугались плановики-архитекторы, да и сунулись в лес. Его, выходит, легче свалить, чем тот овражек засыпать... Свалить, а потом прутики втыкать. Озеленение!.. Ты, может, и не думал об этом вовсе? Работы у тебя, ясное дело, много. То-то не узнаю я тебя, Николай Федорович: сухой ты стал, жесткий, как ломоть на ветру, и ломкий — это я о характере. Конечно, у плановиков-архитекторов куда как красиво получился фабричный тот городок среди леса. Дача! Но они-то на бумаге рисовали-строили, а тебе дерево за деревом валить, корчевать придется. Сердцу-то каково? Смотри, председатель, лес — это тебе не Юркина «стенка», живой лес-то, заповедный...»

Когда Семен разобрал вожжи, ему почудилось, что со стороны старого пожарища к нему, как легкое дуновение ветра, донеслась музыка. Но он не стал ждать, пока невнятные звуки обретут знакомую упругую силу, — он нуждался сейчас в спокойной уверенности, а ее легче найти в согласном молчании леса.

## ПРЕКРАСНАЯ ЕВГЕНИЯ

Деревенская больница стоит на крутом взгорье, а потому из окна своей докторской квартирki Степан Сергеевич может видеть очень далеко. Сразу же за голоствольными, подрагивающими на ветру березками, разбежавшимися вниз по уклону, видна грязно-желтая лента дороги. Если идти по ней налево, то угодишь прежде всего в деревню Острогово, а направо — в Синий Дор. За дорогой, чуть зеленее в прогалинах, тянется заснеженная еще озимь, а дальше — многоярусно, один над другим горбатятся всхолмья. То голые, то в низкорослом и редком сосняке на склонах.

Большой лес начинается там, где торчит белой свечкой церквушка, — за Погостом Мефодия. Бор словно бы в седых прядях: таким седовласым делают его растущие вперемежку с сосняком березы, голые до весны.

Степан Сергеевич видел их зелеными, потом желтыми, почти красными и вот такими — белесыми, будто уже умершими, завершившими в одну ветреную ночь свою жизненную круговерть.

Видел ли он их сейчас? Или просто смотрел, как, возможно, смотрят незрячие — внутренним оком, способным, словно кинокадры, видеть мысли свои? Обрывочные, не связанные одна с другой, рождаемые настроением. А настроение у него было не ахти какое.

Девять месяцев он уже здесь, в этой деревенской больничке. С августа по апрель. Девять месяцев из двадцати семи прожитых лет... Не слишком ли легкомысленно растрчивает он отпущенный ему для жизни срок? За девять месяцев во чреве матери формируется ребенок. Че-ло-век! А что он сумел сформировать-сделать за это время? Оформил пять актов о смерти. А на него надеялись эти люди, рожденные каждый в свой срок, но пришедшие к одному финишу. Он же им лицемерил, хорошо зная, что спасти их ему не дано. И только ли ему!

Степан Сергеевич смотрит на седины далекого бора, на заснеженную еще озимь, и серые глаза его под высокими, резко очерченными бровями становятся как бы холоднее. Или это отражаются в них тусклый отблеск холодного оконного стекла и заснеженная озимь?

«Развезло: ни пройти, ни проехать», — досадует Степан Сергеевич. И деревня и больничка его отрезаны на месяц, если не больше, от всего мира. И от Галки... От Галки! Зачем ему весь мир? Да зачем ему и она — такая-разэдакая, если... Если до райцентра двадцать

километров, а уже в это воскресенье не сумела она к нему приехать, Галка. Позвонить же, видимо, ума не хватило. Или, как та птица-галка, нашла что-либо более блестящее в райцентре, рядышком?

Степан Сергеевич рассеянно барабанит костяшками пальцев по холодному стеклу и бормочет, подбирая едва созвучные и бессмысленные в совокупности слова:

— Весна-распутица... распустится... разлучница,— и, уже забыв о Галине, злится на своего завхоза. Снова пьяный на кухне валяется, этот Федоров. На дровах. Возмнил себя незаменимым, свинья-свиньей, красномордый хам и обжора. Знает, на чем сыграть. Но он его завтра же уволит, наглеца. И сам будет завхозом. И главным, но единственным врачом, и заведующим больницей, и бухгалтером, и аптекарем, и черт те знает кем еще! Посудомойкой в конце концов!.. А шифера так и нет. Крыша течет. Подрядчики, чтоб им увязнуть, до распутицы не привезли, а теперь и подавно.

Уедет он из этой дыры. Непременно. Ссылка, иначе и не назвать. Только за какие грехи? За неповинную молодость? Два года здесь без врача прекрасно обходились. Обойдутся и еще. У старшей сестры тридцатипятилетний стаж. Она на него, дипломированного, все еще вприщур смотрит. Профессор! Обойдутся. Для него же здесь слишком все примитивно. Думал развернуть операционную, физиотерапевтический, зубной кабинеты. Обучить сестер. А что получилось? Наивность в нем неизлечима... Девять месяцев обещают дать набор инструментов — «малую хирургию». Ни ух, ни нос посмотреть толком не может: нет зеркал. Трое щипцов на зубы всех двадцати деревень. А как подтвердить диагноз без рентгена? Не больница — перевалочный пункт: если не хочешь на тот свет — скорее гони в район... Вот и практика бедновата. Однообразна. Не практика — желтая тоска! За все время — два аппендицита, а все больше — атеросклероз, гипертония. Запущенные, десятки лет без лечения. Приходит семидесятилетняя и просит:

«Шыночик, Штепан Шергеевич, шлух о тебе шибко шлавный. Вша наеда на тебя. Шпаши штаруху...»

И попробуй, лечи ее, семидесятилетнюю, и практикуйся! «Штепан Шергеевич!» Не-ет, что-что, а вот как дрова выписывать, мыло ли, как выкланчить в колхозе машину — это он напрактиковался!

Степан Сергеевич усмехается. В серых, холодных глазах появляется чуть приметная «оттепель». Двинув ногой гантели, прослушав их тугой чугунный пересгук, он бесцельно идет от окна к холостяцкой койке — односпальной, взятой «напрокат» из палаты. Переводит взгляд с байкового синего одеяльца на этажерку с медицинскими книгами, на стол.

Надо бы засесть, заполнить «истории болезней». Да вот не лежит ни к чему душа. Успеет, еще заполнит. Семерых сегодня сразу выписал. В палате два старика осталось. По этому случаю повариха приготовила отличнейшие пельмени. Домашние. Научил он-таки ее, вернулось к ней, видно, самолюбие. А то ведь какую дрянь до него

готовили! Эту же дрянь сами ели. Однако женская лень может повернуть время вспять — в каменный век.

«А Галка все же легкомысленнейшее существо», — неожиданно вопреки всякой логике решает Степан Сергеевич. Холостяцкое житье ему осторчтело, но он еще присмотрится к ней, к Галке. Ну хорошо, приехать не могла: все дороги всмятку. Но позвонить-то проще простого!

«Он еще присмотрится к ней, к птице-галке...» — повторяет Степан Сергеевич и вспоминает, как это все у него с нею было.

Собирался он тогда в Петровск на совещание медицинских работников района, без особой охоты собирался: известны ему эти пустопорожные говорильни! Лучше бы привезли ящик с «малой хирургией», спихнули бы его молчком у крылечка, и бывайте здоровы... Да куда денешься — поехал, к тому ж больно хорошо пивко в Петровске!..

Н-ну, сидят они с приятелем, таким же деревенским лекарем-бедолагой, в зале районного ресторанчика «Спутник» и из-за батареи пивных кружек поглядывают на соседний столик, пытаясь разгадать очень заинтриговавшую их «шараду». За тем столиком — трое: каштановолосая смуглянка и беленькая, сероглазая, но явно «химическая» блондинка. А парень — один. Вот и гадали, спорили, какая из них «его». Смуглянка или беленькая? Наблюдали, суммировали всякие там нюансы в застолье этой тройцы — чертовски любопытным оказалось занятие. Прямо-таки человековедение! И, наконец, единогласно заключили: смугляя и парень — женатки. А тут возьми беленькая да и положи из своей тарелки в тарелку парня какой-то, видимо, лакомый кусочек... А потом уже совсем как-то непонятно все завершилось: дожевал парень то, что было в тарелке, допил бутылочку, да и ушел, оставив за столиком и ту и другую... Ну как тут было не подсесть к покинутым, ну как не признаться им, что оба они с приятелем оказались ни к черту негодными человековедами.

А «шарада» была проста, по-житейски проста: смуглянка рассчитывалась — угощала здесь столяра-малыра, парня на все руки, отремонтировавшего ее квартиру. Подружку же прихватила с собой для храбрости — не сидеть же в ресторане с каждым-всяким один на один.

Степан Сергеевич тихо смеется, вспомнив, как искренне, но и забавно объясняла тогда им все это Галка. Смеется, но и сразу умолкает, остановившись посреди комнаты. «Не сидеть же с каждым-всяким один на один...» Подумайте только, какая трусиха! Но парень-то целых две недели хоромы ее ремонтировал, а с ним, заезжим, она уже на третий день, да и на всю ночь осталась в той самой, еще пахнущей олифой и клеем квартирке... Вот и пойми таких трусих, всю их хрупкую психологию!

Руки у нее ласковые, у Галки, и в карих глазах и огонь и ласка.



Только есть ли преданность, есть ли любовь? Каждое воскресенье, все лето к нему приезжала; уходили в лес, в травы, за Погост Мефодия... И сам иногда вырывался в Петровск, в ее крохотную квартиру...

Степан Сергеевич совсем вроде бы некстати хмурится — от таких жарких воспоминаний! — и в серых глазах его опять холодок, хоть и не смотрит он сейчас сквозь стылое стекло на заснеженную озимь... Руки у нее ласковые, верно, и вся она какая-то жадно-жаркая. Но это ли любовь? И совсем не в том дело, что он у Галки «не первый», да и где ее искать такую, чтоб успеть оказаться первым? В таком ли чистоплюйстве суть житейская и счастье? Вся суть и счастье в любви и преданности. И Степан Сергеевич в который раз спросил у себя: а есть ли они — любовь и преданность? У Галки к нему, да и у него к Галке. Тоска в нем живет, это так. Но по Галке ли? Может, просто по бабе? Степан Сергеевич едко усмехается — уж с самим-то собой, мужиком, он может быть откровенен? Или тоска — от такого его отшельнического бытия в этой, язвы ее, больничке промеж деревень? А живи он...

И все-таки не себя, а Галку в конце концов уличает и обвиняет во всех грехах Степан Сергеевич. Позови он Галку сюда — приезжай, мол, и останься хозяйкой — приехать-то приедет после распутицы, но вот останется ли? Но вот останется ли в этой дыре, если даже тоска его все ж таки по Галке, по такой, какая она есть, «трусихе» с ласковыми руками?

Степан Сергеевич бесцельно толкается по комнате, ему уже тошно от всех этих размышлений человека-одиночки, ему уже ненавистным кажется весь этот сомнительный холостяцкий уют среди опостылевших беленых стен, конечно же, — хоть он и принюхался — пахнущих карболкой и пачкающих мелом, едва прикоснись, руки и одежду. «Не догадались добавить соли, чтоб не пачкались», — совсем уже ни к чему, по-глупому раздражаясь, думает он и решает пойти на кухню, растолкать, разбудить там пьяного завхоза да и задать ему, пока зол...

Но вместо того, чтобы идти на кухню и расправиться с бесстыжим Федоровым, Степан Сергеевич останавливается у стола, берет синий бланк — «историю болезни», нервно мнет левой рукой жесткий, небрежно выбритый подбородок. Вдыхает. Простила ли его Анечка? Девятнадцатилетняя, синеглазая. Совсем еще девчужка. Первые роды, и такая патология: двойня, а мальчишка повернулся нелепейшим образом. Так и появился на свет ножками вперед. Да не ходить ему, малому, — не сумел его сберечь... Чертовски трудное было положение.

Сейчас бы хорошую встряску! Срочный вызов, хотя бы. Прошагать километров пять по бездорожью. И чем, вправду, заняться — рабочий день позади: утренняя пятиминутка, анализ состояния больных, задания сестрам, обход, новые назначения, просмотр историй болезней, амбулаторный прием, продажа медикаментов...

Одолевают, однако, его старухи на приемах. По шестьдесят — семьдесят лет не лечились, а теперь прут косяком. Прямо гуси-лебеди, только что не летают... Рад бы помочь, да только и слышит в ответ: «Ох, чегой-то не полегчало, сынок...» Где ж тут полегчает — умирать скоро. Правда, бабка Анастасия ему, как Христу, кланяется в пояс. Ну, у Анастасии случай особый. Трудный, но особый. И он рад вдвойне — и за себя и за бабу.

Нет, так вот всегда! Стоит только приятелю дальнему заявиться, сто лет которого не видел, Гале ли приехать — обязательно свалится срочный вызов, привезут тяжелого. А вот сейчас, когда одолевает одиночество, когда нет силенок сбросить его, — никто и ноги не вывихнет!

Степан Сергеевич подошел к тумбочке, нажал на белый клавиш магнитофона, перемотал ленту. Сегодня вечером трансляция из Сопота. Конкурс на лучшее исполнение эстрадной песни. Надо будет не прозевать, настроить приемник да записать кое-что. Галя любит... Галка! Когда он теперь ее увидит? Месяца через полтора. Не могла, дуреха, взять отпуск без содержания да к нему приехать, до конца распутицы. А может, и вправду районный сосед-землячок Галекрусихе подвернулся? Какой же тогда ей резон за двадцать верст тащиться? Зачем ей такая «нерациональная» любовь?

Подумал так, и неловко ему стало: пошляком становится!

Нет, сегодня день непохожий на день — тоска зеленая...

И Степан Сергеевич вдруг рассмеялся, странно как-то рассмеялся, совсем вроде бы некстати и без какой-либо причины. Потом подошел к окну, погрозил пальцем далекой церквушке. И протянул ломким баритональным тенором:

— Де-ень, непохожий на де-ень... — и, «пустив петуха», покачал головой, чему-то задумчиво улыбаясь.

А что, сейчас он натянет резиновые сапоги-вездеходы и отправится к святому отцу Василию. Василию Петровичу Комову, на Погост Мефодия. Выпьет клюквенной настойки, поспорит малость забавы ради о происхождении мира и жизни в нем, а напоследок, как иногда бывает, разругается с ним не на шутку, назовет дармоедом, хлопнет дверью... Чем не встряска?

Вот жизнь, и поговорить, кроме попа, не с кем! До школы семь километров, а в такую распутицу — множь надвое. Распутица, разлучница... Коллега-ветеринар — тип пренеприятнейший, незваных гостей терпеть не может, одних хворых буренок только и жалует. Однолюб коровий, тьфу-фу, прости господи!.. А до Погоста Мефодия всего три километра. Жена у отца Василия — Евгения — ангел писаный. Перетрухнул тогда поп, приперся в больницу ночью: у попадьи жар, за тридцать восемь перевалило... Но какими глазами полыхнул святой отец на Степана Сергеевича, едва сунул тот стетоскоп попадье под сорочку, в бело-пышное ее таинство. Черный огонь и пламень! Ревнив поп. Но с тех пор и начались визиты эти.

«Зря Василий хорохорится, — размышляет Степан Сергеевич, глядя в окно, туда, где на фоне темной зелени седого бора четко видится белая колокольня. — Дрянное житье у него. Клиентура куда хуже моей... И с женой острейший конфликт. Это ж надо — попадья пишет на святого отца в сельсовет жалобу! Возмущается, что тот вопреки ее запрету, крадучись, крестил своего малыша. Вот это патология! Председатель сельсовета, тертый мужик, каких только бумаг не видывал, прочтя жалобу Евгении, потерял дар речи, словно вторично контуженный... И что она держится за гривастого? Торчит в глухомани: на Погосте Мефодия всего два дома. И как она с ним связалась? Окончила экономический факультет, училась иметь дело с точным и реальным, и вдруг — матушка попадья, живет в мире мифическом. Подумать только!..»

И думал, возвращаясь в тот день вместе с Евгенией из сельсовета. Были у него там дела первостепенные, да отложил их до другого случая, торопясь навязался в попутчики: когда еще такой счастливый случай выпадет — один на один идти с красавицей попадьею по тропке через всхолмья да перелески километра четыре — ему до больницы, ей дальше, на Погост Мефодия. Шел рядом, поглядывал искоса на Евгению и робел, по-глупому робел перед молодой породистой ее статью и соблазнительной красотой. Тоже мне попадья, мать Евгения! Грешница Евгения: в цветастом коротеньком платьице, в котором тесно и литым грудям, и стану, и всей туго замешенной бабьей плоти. Добра она телом, но не рыхла, а крепка и чертовски статна, и ноги стройны и сильны — так отмеряют по тропке, что Степан Сергеевич едва за нею поспекает.

Шли молча. Евгении, видно, было не до разговоров, а у Степана Сергеевича хоть и вертелось на языке многое, да не решался он с этой всякой всячиной, в которой — и безмерное любопытство, и язвительность, едва ли даже не злость — да, злость, хоть и не совсем ему понятная, но ясно ощутимая, — начинать разговор. И не о здоровье же отца Василия спрашивать — тому и насморк неведом, и не о пастве его... Навязался в попутчики! Немтырь немтырем.

И тут то, непонятное ему зло, раздражение или столь же еще неясное чувство зависти, все ли вместе взятое, сработало в нем, и он сказал, не очень-то следя, как у него получается:

«Слушайте, Евгения, а не анекдот ли: матушка попадья приходит в сельсовет жаловаться на попа за то, что тот крестил своего сына?»

Белое лицо Евгении ярко вспыхнуло, как вспыхнул, но тут же и погас гнев в больших, по-кошачьи желто-зеленых глазах; погас, и в ее метнувшемся от Степана Сергеевича взгляде отразилось замешательство. Но ненадолго: только на лице все еще цвели нервные лихорадочно-жаркие пятна румянца.

«Анекдот, верно, — низкий, мягкий ее голос прозвучал тягуче и ровно. — Глупо очень, но хотелось мне его, Василия, как-то...» — и,

видно, не найдя слов, решимости ли быть столь же откровенной и дальше, умолкла. А Степан Сергеевич, боясь, что откровенность Евгении, так неожиданно выплеснувшаяся, уйдет-погаснет совсем, решил и дальше — будь что будет! — вести разговор напрямую.

«Убейте меня — не пойму: что вы с этим гривастым жизнь свою гробите, позоритесь. Какая вы, к черту, попадья! Посмотрите на себя, посмотрите. На Погосте ли вам...»

«Так увезите, украдите, умчите на тройке! — Евгения холодно усмехнулась: — Вот вам уже и не анекдот, а что-то из гусарщины. Не понять вам... А может, и поймете? — Она с сомнением, в котором были и неожиданное любопытство и едва ли не жалоба, хоть и на миг, но все-таки проткнувшая, кинула короткий взгляд на Степана Сергеевича. — Не за «гривастым же», как вы мне сейчас... не за попом же в конце концов! Не знаете вы Василия, откуда вам... И споры с ним для вас — просто забава, от скуки, я же не дура, понимаю. И вообще завлекательно, не вдруг и не везде сыщешь такое: бывать запросто в поповском доме. Да и для Василия споры эти — озорство и только, от той же скуки, от терзаний, да-да... Вы же не знаете, какое богатство в нем — талант и сердечность какие. Откуда вам... За любовь — и позор мой и Погост этот, — вам понятно такое? За любовь...»

Она умолкла, молчал и Степан Сергеевич, шагал рядом, слышал ее порывистое возбужденное дыхание и не решался даже искоса взглянуть на Евгению: так неожиданны, горячи, отчаянно-откровенны были поразившие его слова. И в нем нарастало странное двойственное чувство: он клял себя, что вырвал у Евгении такое вот признание — ведь побудили его к этому опять же скука да и легкомыслие; и как и чем он может помочь Евгении — своим душевным участием? Нужно оно ей!.. И в то же время Степан Сергеевич был тронут ее искренностью — значит, это не просто какой-то ее срыв, но она и по-доброму расположена к нему и в ней, значит, есть к нему какая-то толика доверия. Однако он уже не хотел, чтобы Евгения продолжала этот разговор-признание.

Но, видно, слишком долго она молчала, но, видно, некому ей было излить — высказать все то, что накопилось, перемешалось в ней вместе с ее любовью, что терзало Евгению в замкнутом ее одиночестве.

«Ведь как получилось», — негромко сказала она, и его тронули доверчивость, какая-то обнаженная, откровенная слабость, так открыто прозвучавшая в этих первых ее словах, и он, боясь не расслышать, пропустить что-либо, стал ступать мягче, словно и шелестом травы на обочине тропки можно заглушить ее тихий голос, спугнуть искренность.

«Ведь как все... — повторила Евгения. — Не знала я, что Василий будет священником. Долго ли — но не знала. А потом, что ж, а потом ничего уже не могла с собой поделать. Не могла! И готова была на все, только бы рядом, только бы его голос, глаза... И соблазнил он меня

лесом, тишиной, красотой вот этой. А позор, что ж, если откровенно, если закрыв глаза... то у себя, на Погосте Мефодия, среди прихожан — ничего, кроме уважения, да нет, не то, какое там!.. Кроме лести и этого самого «благолепия» я не чувствую. Если закрыть глаза... Но и закрыть не могу, и сердце рвется — и за себя и за Василия: ведь вижу, чувствую — он тоже мечется, и гадко ему от этой лести, от лживости, которая всюду, как... как едкий пот, как ладан пропитали все — и взгляды, и улыбки, и слова, слова... Вижу, чувствую, хоть и неискренен он со мной в этом. А его проповеди — вы бы послушали! — ведь святости в них ни на грош. Это он с вами дурака валяет... И вот мучаюсь, люблю и мучаюсь и никогда ни на что не решусь. Да и он, да и Василий не решится, что-то в нем...»

«Знаете, Евгения... на вашем месте, знаете,— Степан Сергеевич хотел сказать ей что-то важное, вдруг к нему пришедшее, но нужные слова нашлись не сразу.— Уехали бы вы с Погоста, удрали бы, как на той тройке. Раз такая любовь — ведь тогда все можно... Вы послушайте — уехали бы, и Василий, который и дня без вас не сможет, не сможет — так ведь? — бросит все к черту, и приход, и паству, и рясю. За вами кинется. Только решитесь, ведь когда такая любовь...»

Что было тогда во взгляде ее желто-зеленых глаз? Она как-то диковато на него посмотрела — но диковатость эта и изумление, что ли, были мгновенны: не ожидала, не могла, конечно, Евгения ожидать таких слов, такого совета. Да и сам он, Степан Сергеевич, не думал, не вынашивал его. Сказал вдруг, словно мысль эта зрела исподволь, неподвластная, неконтролируемая им, — но искренняя, но соучастная и, в чем он уже не сомневался, единственно верная.

Изумление погасло, и повлажневший взгляд Евгении, обращенный на Степана Сергеевича, был долог и серьезен. Она ничего ему больше не сказала, и они вскоре разошлись: он к больнице, она дальше, к Погосту Мефодия. Но у развилки тропы, приостановившись, Евгения протянула ему руку, чего прежде никогда не делала. Пожатие ее мягкой, теплой ладони было слабым, но долгим, как и ее взгляд — серьезный, но уже и чуть потеплевший.

Вспомнив сейчас все это и свои слова, сказанные Евгении: «Раз такая любовь — ведь тогда все можно...» — Степан Сергеевич подумал о Галке, о легкомысленной Галке, иначе в досаде своей он назвать ее уже не желал, — не приехала, ладно, но телефонную-то трубку поднять могла!.. Но что — телефон, но что — эта мнимая, иллюзорная, как там еще ее называть, связь на расстоянии, когда нет истинного взаимного влечения друг к другу, когда все так сомнительно и легковесно... И опять подумал о Евгении, о ее любви к Василию.

Нет, ему совсем ни к чему, и он не принял бы от Галки такого же самоотречения, в котором и отчаяние и рабство, но вот верности, но вот мужества ей... им! — недостает обоим.

Но это что же тогда получается? Он убеждает Евгению уехать отсюда, и скорее, с тем чтобы уехал — кинулся за ней и Василий, а сам пытается заманить свою Галину в эту же глухомань?! Да нет, тут совсем другое. Никуда он ее не заманивает — велика честь... и сам удерет, дай срок. Какая же это практика для молодого врача! Забудет намертво все, что учил. И усмехнулся: сейчас бы самое время кому-нибудь заболеть. Ну, хотя бы рядовой приступ... С каким бы удовольствием он отправился по этой слякоти, пешком. Так нет — здоровье у всех луженое. И впереди никакого просвета. Старухи. Да наметилося пять рожениц. Это на двадцать-то деревень!

Отправится он и вправду к Василию. Кстати, вернет ему журналы «Вокруг света». Давно прочитал. Да и опрокинет клюквенной настойки чуток, на которую Евгения великая мастерица. Но Василий каждый раз поглядывает на карман гостя — нет ли в нем шкалика со спиртом... Настойка — хороша, а попадья — прелесть... Только бы решиться, спросит, улучив минуту, что она думает о том их разговоре на тропке. Да нет, это уже будет слишком. Не спросит.

Удивительнейший поп, этот святой Васька! Чего он только не выписывает: «Вокруг света», «Молодой коммунист», «Наука и жизнь», «Агитатор», «Здоровье», «Новый мир», «Огонек» с приложением. «Музыкальную жизнь», «Науку и религию». Даже на «Неделю» каким-то чудом сумел подписаться гривастый!

«К чему тебе столько чтива? — спрашивал Степан Сергеевич. — Даже этот вот — скучнейший журналичко».

«Истину глаголишь, — басил Василий. — Скучнейший. Потому что составляют его, не взывая к голосу души своей».

«Так зачем же его выписывать? Церковнику!»

«Дабы быть во всеоружии супротив антихриста».

«Да ну тебя, Василий Петрович. Какой там, к черту, антихрист!»

«Сгинь, сгинь, сатана!» — истоиво восклицал Василий и трижды осленя себя размашистым крестом.

«Хватит тебе паясничать. Я же тебя насквозь вижу...»

«Не богохульствуй. А видеть человека насквозь, душу его и помыслы дано только господу нашему», — и назидательно поднимал к потолку тонкий розовый палец. Нежно-розовыми были у Василия и щеки, и лоб, и шея. Шевелюра буйная, густая, темно-каштановая. «В масть» и большие его глаза — темно-карие. В них при встречах со Степаном Сергеевичем почти всегда тлела готовая ярко вспыхнуть озорная усмешка.

«Красив, чертов поп! — думал, глядя на него, Степан Сергеевич. — Вот и мается с ним Евгения». И все ждал, надеялся: войдет она в горницу, присядет, как обычно, ненадолго в старом глубоком кресле у окна и он хоть перекинется с нею взглядом. Но Евгения не появлялась. И он, почему-то злясь на Василия, говорил ему:

«Распек я тебя на последней лекции, Василий Петрович, ох, и распек! Жаль, ты не слышал».

«Мне все ведомо, — многозначительно отвечал Василий. — Однако в лекциях тебе надобно смирять раздражение свое. В едином спокойствии сила, сын мой! — и, жмуря глаза, прятал в густых ресницах слишком уж яркую усмешку. — Я же в проповедях своих всегда с миром и лаской упоминаю имя твое, дабы шла паства к тебе на излечение. А ты поносишь на лекциях имя господне и мое, его слуги, имя. Где истина? Справедливость где?»

«Ко мне на излечение? А почему не к господу?»

«Земным — земное!»

«А и хитрый же ты поп! — искренне говорил Степан Сергеевич. — Только со мной-то тебе какого черта вилать!»

«Сгинь, сатана! — восклицал Василий, и карие глаза его уже смеялись открыто. — Матушка, а принесла бы ты нам графинчик клюквенной!» — и густо крякал, глядя на четвертинку спирта, извлеченную из докторского кармана.

Евгения тут же вошла в горенку, точно ждала, когда ее позовут, и, ставя на стол графин с настойкой, близко и коротко посмотрела на Степана Сергеевича и отвела взгляд.

«Может, посидишь, порадуешь, пригубишь рюмочку? — спросил ее Василий. — Что-то у доктора нашего душа пасмурна.»

«Извините, сегодня я плохая собутельница — нездоровится», — и ушла, кивнув на прощание Степану Сергеевичу.

После нескольких стопок розовое лицо Василия становилось мраморно-бледным и как бы холодным. Он тянулся к гитаре, ласково проводил ладонью по желтой полированной деке, осторожно перебирал струны, будто выверяя свой душевный настрой и становясь сосредоточенно-задумчивым, неведомо куда уйдя мыслями из уютной горенки. Он словно бы забывал о своем госте, и Степан Сергеевич, с любопытством присматриваясь к Василию, старался не нарушать такого странного его уединения.

«Так вот, доктор, исполню я тебе одну диковинку. В Сопоте она звучала. Слова Тыльчинского — популярнейшего польского песенника...» — и прикрыл глаза, скрывая от гостя разгорающееся в них возбуждение. А Степан Сергеевич расслышал в эту минуту легкие, осторожные шаги в соседней комнате. Это, видно, подходила поближе к дверям Евгения.

«День, непохожий на день,  
день, без да-аты совсем,  
то веселье, то-о грусть...»

Мягкий, редкой красоты, бархатистый бас заполнял комнату. И Степан Сергеевич, слушая, думал, что какой все же удивительный поп, этот Васька Комов — певец и священник. И что не умеет он с ним говорить, рассуждая порой непростительно примитивно. А Комов совсем не прост, только как он докатился до этого Погоста? И какая

странная у них семья. Евгения сейчас, конечно, стоит за портьерой, прижав руки к груди, и слушает необыкновенный голос мужа. И глаза у нее мокрые.

«Я не знаю, как жить,  
чтоб не понял никто,  
что я пуст  
до поры воплощенья мечты...»

Василий прервал пение, наполнил рюмку настойкой, провел ладонью по белому, взмокшему лбу.

«Ты бы подключался, доктор, а? Слова-то какие верные! Необыкновенные слова. Я вот думаю: в чем сила слов? Откуда она в них, сила такая? Или откуда никчемность вдруг в словах, пустота? И никаким голосом — ого-го-го!.. — не перекричишь пустоту эту. Уж я-то знаю, поверь, ничтожество и лживость пустых, ветхих, затасканных слов. Уж я-то... Сила в них, доктор, от истины, от меры ее, от того, есть она в них или нет... — И сказал тихо и просяще: — Так споем?»

«Не дано», — сожалеюще ответил Степан Сергеевич. Он не узнавал Василия. Не на шутку тот сегодня взбудоражен. И понятно, о ничтожестве каких слов он говорит. Евгения правду сказала тогда о терзаниях Василия. «Вы же не знаете. Откуда вам...»

«А ты попробуй спой. Вот слушай: Я не знаю... Ре, до, си бекар, до, фа, ре, фа, си бемоль, ля бекар, си бемоль... воплощенья мечты... Усвоил? Вот тебе ноты.

Жажду себя обрести среди вас,  
жажду постичь этот мир,  
суть ваших помыслов жажду открыть,  
жажду любовь отыскать...

Молчишь, доктор?»

«Не разбираюсь я в нотах» — сказал Степан Сергеевич, пораженный на этот раз не столько голосом, сколько смыслом слов и каким-то особым, «личным» отношением к ним исполнителя. «Откуда она в них, сила такая?» Не о себе ли поет непонятный красавец поп? «Жажду себя обрести среди вас...»

«Не знаешь нот?! Вот оно — нынешнее высшее образование! — воскликнул Василий и кинул гитару на диван. — Интеллигентный человек. Стыдно.»

«Нынешнее, верно. А сам-то ты каков, поп Василий? — раздражась и злясь на себя за это, спросил Степан Сергеевич. — Сам-то ты чей, тридцатилетний шаман!»

«Опять, сын мой? Я уже говорил: смиряй раздражение свое. С миром и лаской обращай лик свой к ближнему.»



«Да брось ты... Вот я и говорю тебе, Василий Петрович, с миром и лаской говорю: шел бы ты с Погоста Мефодия в певцы или дирижеры. В клуб ли какой... я знаю — куда? Душа-то у тебя музыкальная, и святости в ней — ни на грош. Грешная, нашенская душа у тебя, поп. Земная. И жена твоя...»

Василий то ли окончательно вдруг опьянел, то ли прикинулся таким и, как-то нелепо взмахнув руками, уткнулся в них белым, без кровинки лицом, да так и не поднял головы.

...Степан Сергеевич уложил в портфель годовой комплект журнала «Вокруг света». Минуту помедлил, глядя на тумбочку с красным крестом на дверце. Но не подошел к ней.

«Обойдется сегодня и без спирта. Опять прикинется пьяным, мошенник. Нет, сегодня я поговорю с ним откровенно, «с миром и лаской...». Сам же он признался, что сила слов — в истине, и тошно уже ему от затасканных и лживых...»

И принялся натягивать резиновый сапог.

С каким удовольствием, с какой жадностью он будет глотать и глотать ветряной воздух, бредя по лужам, разгребая и расшвыривая мокрые листья... Нет, есть что-то в этой глухомани с тоской желтой пополам. Есть... И жаль все же будет ему уезжать... Вот как? Странно. Чего — жаль? И не скажешь даже самому себе — слов таких нет. Просто на сердце вдруг, так вот, как и сейчас, ворохнется что-то горячее, живое и щемящее. Но бессловесное.

— Степан Сергеевич, — раздался за дверью голос сестры. — Срочно просят, без вас не обойдутся. Привезли с тяжелым переломом ноги...

— А я о чем говорил? Всегда так! Стоит только собраться... — совсем уж неожиданно выкрикнул Степан Сергеевич и что есть силы запустил резиновым сапогом в холостяцкую койку. — Не день, а патология! Уеду!..

Но в серых глазах уже исчез ледяной холодок, растопленный прихлынувшим изнутри лихорадочным блеском нетерпения: «В операционную!»

Куда тут уйдешь, куда тут уедешь, когда его ждут, когда, оказывается, «без вас не обойдутся».

Едва он вошел в операционную, как услышал знакомый бас:

— Ты побыстрее меня, доктор. — На Степана Сергеевича, приподняв взлохмаченную голову, смотрел Комов, и, когда тот, пораженный, подошел к операционному столу, Василий сказал тихо, и в приглушенном его голосе слышались боль и жалоба: — Ремонтируй, только быстрее мне надо... Евгения-то уехала. Кинулся я, да и хрясь с крыльца... Такая вот патология, доктор.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

«Колодка без мотора» . . . . .	3
Искорка . . . . .	13
Лесная музыка . . . . .	28
Прекрасная Евгения . . . . .	36

**Геннадий Петрович КОЧЕТКОВ**

### ЛЕСНАЯ МУЗЫКА

Редактор **Е. Ф. Олейник**

Технический редактор **О. Н. Ласточкина**

---

Сдано в набор 28.09.83. Подписано к печати 30.11.83. А 00760.  
Формат  $70 \times 108^{1/32}$ . Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,24.  
Тираж 100 000 экз. Изд. № 2956. Зак № 1491.  
Цена 20 коп.

---

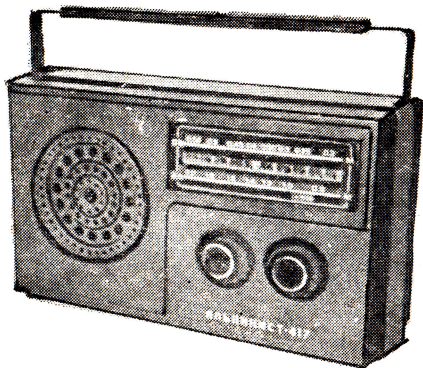
Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография  
газеты «Правда» имени В. И. Ленина, 125865. ГСП,  
Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



Цена 20 коп.

Индекс 70668

# АЛЬПИНИСТ. 417



«Альпинист-417» путешествует с Вами повсюду. В дальнем турпоходе или путешествии на байдарках, в горах или геологоразведочных экспедициях — всюду владелец переносного транзисторного приемника «Альпинист» будет в курсе событий, происходящих в мире, сумеет прослушать концерт по заявкам.

Работает приемник в ДВ и СВ диапазонах. Питание универсальное — от сети двух батарей типа «3336А» или шести элементов «343». Масса — 1,6 кг.

Цена — 38 руб.

УПРАВЛЕНИЕ «ОРБИТА»

